
ВОЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
ШКОЛЬНИКА



Николай Тихонов

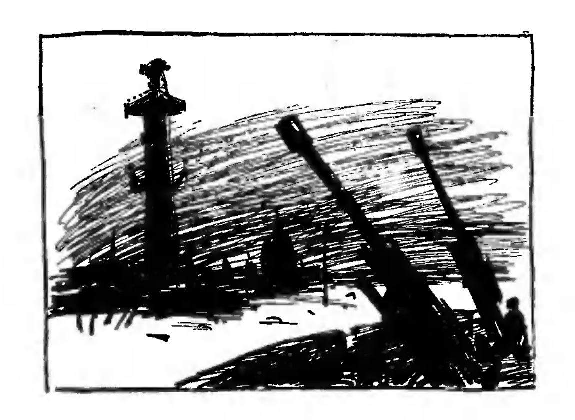
ЛЕНИНГРАДСКИЕ РАССКАЗЫ

Рисунки
И. Латинского

Ленинград «Детская литература» 1984

Р2
Т46

ЛЕНИНГРАД ПРИНИМАЕТ БОЙ



Т $\frac{4803010102-127}{М101(03)84}$ 414—84

В ЖЕЛЕЗНЫХ НОЧАХ ЛЕНИНГРАДА...

Блокадные времена — это небывалые времена. Можно уходить в них, как в нескончаемый лабиринт таких ощущений и переживаний, которые сегодня кажутся сном или игрой воображения. Тогда это было жизнью, из этого состояли дни и ночи.

Война разразилась внезапно, и все мирное пропало как-то сразу. Очень быстро гром и огонь сражений приблизились к городу. Резкое изменение обстановки переиначило все понятия и привычки. Там, где жрецы звездного мира — почтенные ученые, пулковские астрономы — в тишине ночей наблюдали тайны неба, где по предписанию науки было вечное молчание, воцарился непрерывный грохот бомб, артиллерийской канонады, свист пуль, гул обваливающихся стен.

Вагоновожатый, ведя из Стрельны трамвай, взглянул направо и увидел, как по шоссе, которое шло рядом, его догоняют танки с черными крестами. Он остановил вагон и вместе с пассажирами начал пробираться по канаве через огороды в город.

Непонятные жителям звуки раздались однажды в разных частях города. Это рвались первые снаряды. Потом к ним привыкли, они вошли в быт города, но в те первые дни они производили впечатление нереальности. Ленинград обстреливали из полевых орудий. Было ли когда что-нибудь подобное? Никогда!

Над городом встали дымные разноцветные облака — горели Бадаевские склады. В небе громоздились красные, черные, белые, синие Эльбрусы,— это была картина из апокалипсиса.

Все стало фантастическим. Тысячи жителей эвакуировались, тысячи ушли на фронт, который был рядом. Сам город стал передним краем. Рабочие Кировского завода могли с крыш своих цехов видеть укрепления противника.

Странно было подумать, что в местах, где гуляли в выходные дни, где купались,— на пляжах и в парках. идут кровопролитные бои, что в залах Английского дворца в Петергофе дерутся врукопашную и гранаты рвутся среди бархата, старинной мебели, фарфора, хрусталя, ковров, книжных шкафов красного дерева, на мраморных лестницах, что снаряды валят клены и липы в священных для русской поэзии аллеях Пушкина, а в Павловске эсэсовцы вешают советских людей.

Но над всей трагической неразберихой грозных дней, над потерями и известиями о гибели и разрушениях, над тревогами и заботами, охватившими великий город, господствовал гордый дух сопротивления, ненависти к врагу, готовности сражаться на улицах и в домах до последнего патрона, до последней капли крови.

Все, что происходило, было только началом таких испытаний, которые и не снились никогда жителям города. И эти испытания пришли!

Машины и трамваи вмерзли в лед и стояли как изваяния на улицах, покрытые белой корой. Над городом полыхало пламя пожаров. Наступили дни, которых не смог бы выдумать самый неуемный писатель-фантаст. Картины Дантова ада померкли, потому что они были только картинами, а здесь сама жизнь взяла на себя труд показывать удивленным глазам небывалую действительность.

Она поставила человека на край бездны, как будто проверяла, на что он способен, чем он жив, где берет силы... Кто не испытал сам, тому трудно представить все это, трудно поверить, что так было...

Человек шел глухой зимней ночью по бесконечной пустыне. Все вокруг было погружено в холод, безмолвие, мрак. Человек устал, он брел, вглядываясь в темное пространство, дышавшее

на него с такой ледяной свирепостью, точно оно задалось целью остановить его, уничтожить. Ветер швырял в лицо человеку пригоршни колючих игл, обжигающих ледяных углей, выл за его спиной, наполнял собой всю пустоту ночи.

Человек был в шинели, в шапке-ушанке. Снег лежал на плечах. Ноги плохо повиновались ему. Тяжелые думы одолевали. Улицы, площади, набережные давно слились в какие-то неощущаемые массы, и, казалось, остались только узкие проходы, по ним и двигалась эта крошечная фигурка, которая, оглядываясь и прислушиваясь, упорно продолжала свой путь.

Не было ни домов, ни людей. Не было иных звуков, кроме тяжелых порывов ветра. Шаги тонули в глубоком снегу и заглушались непрерывным свистом ветра, переходившим в рыдания и вой. Человек тащился по снегу и, чтобы подбодрить себя, давал волю воображению.

Он сам себе рассказывал необычайные истории. То ему казалось, что он полярник, идущий на помощь товарищам в необъятных просторах Арктики, и где-то впереди бегут собаки, и сани везут продукты и топливо; то он внушал себе, что он участник геологической экспедиции, которая должна пробиться сквозь ночь и холод к своей цели; то он пробовал смешить себя, вспоминая анекдоты прошлых, далеких, мирных дней...

Во всем этом он черпал силу, подбадривался и двигался, смахивая с ресниц колючий снег.

В перерывах между рассказами он вспоминал виденное днем, но это уже не было плодом его воображения. На мосту у Летнего сада, захлебываясь кашлем, стоя, как римлянин, умирал какой-то древний на вид старик, но он мог быть и человеком средних лет, просто над ним поработала рука такого скульптора, как голод. Около него суетились такие же изможденные создания, которые не знали, что с ним делать.

Потом навстречу попалась стайка женщин, в больших черных платках. На лицах у них были черные маски, как будто в городе настали дни непонятного молчаливого карнавала.

Эти женщины показались ему сначала галлюцинацией, но они были, они существовали, они, как и он, принадлежали к блокадному городу. А закрывались они масками потому, что падавший на щеки снег уже не таял от теплоты человеческой кожи, а замораживал ее, так как кожа стала холодной и тонкой, как бумага.

Сквозь мерзлый сумрак шедший разглядел темные фигуры, сидевшие рядом на скамейке. На скамейке! А! Значит, он уже проходит парком, и лучше не приближаться к этим скамейкам, на которых там и тут присели такие же странные ночные видения. Но, может быть, они действительно отдыхают?

Он сделал несколько шагов в их сторону и натолкнулся на проволоку, натянутую поперек узкой дорожки от дерева к дереву, посреди высоких сугробов.

За проволокой под ногами что-то темнело, еще более темное, чем окружающая тьма. Он стоял у проволоки и думал. Не сразу понял он: внизу была яма от упавшего днем снаряда. Если бы не проволока, прохожий упал бы в яму. Не он, так другой, женщина с ведром, ходившая за водой... Кто-то, заботясь о других, не поленился огородить проволокой это место. Человек обошел яму. На скамейке сидели мужчина и женщина. Снег, не тая, лежал на лицах. Казалось, люди уснули,— отдохнут и пойдут дальше.

Прохожий начал рассказывать себе новый рассказ. Надо выдумать поинтереснее, иначе идти все труднее и труднее. Ночь не имела конца. А если сесть на скамейку, как те, и заснуть?

Нет, надо же узнать, чем кончится очередная новелла. Он свернул направо. Деревья пропали. Пустое пространство перед идущим выбросило из тьмы человека, который брел, как и он, спотыкаясь и часто останавливаясь, чтобы перевести дух.

Может быть, это просто шутит усталость? Кто может в такой час ходить по городу? Прохожий медленно приближался к идущему впереди.

Нет, это не был призрак из исчезнувшего города. Это шел человек, который нес на плече что-то маячившее белыми блестками. Прохожий никак не мог понять, что это блестит на спине. Собравшись с силами, он пошел быстрее.

Теперь он видел, что человек несет мешок, плотный, белый, с блестками, потому что это мешок из-под известки. Но что в нем? Прохожий уже хорошо видел мешок. Несомненно, в нем лежало человеческое тело. По-видимому, это была женщина. Он нес мертвую женщину, и при каждом его шаге тело в мешке как будто вздрагивало. А может, это была маленькая девочка, его дочка?

Прохожий задержался перевести дыхание. Остановить того, несшего мешок? Зачем? Что скажут друг другу два полумертвых человека рядом с мертвецом? И не такое увидишь нынче...

Человек с мешком удалялся, стал таять во мраке, и только отдельные блестки еще светились, потухая. В такую летаргическую ночь, когда кажется, что на свете, кроме стужи, и мрака, и бездны, по краю которой тащатся люди, ничего нет, город провалился в ледяной ад,— можешь идти куда хочешь. А этот несчастный, может быть, просто несет хоронить близкого ему человека, не хочет бросить его ночи и холоду. Человек с мешком пропал, как будто его никогда не было. Прохожий стоял, отдыхая, почему-то сжимая пистолет, точно ему грозила неведомая опасность. Сознание работало глухо, как будто мрак охватывал и его. Окружающее было неправдоподобно. Неужели вот так все и кончится? — мелькало в сознании. Никогда не будет больше света и тепла, а там в домах, за темными стенами, не останется никого, кроме неподвижно сидящих и лежащих мертвых...

«Нет! — воскликнул он мысленно, как будто обращаясь к тому, кто прошел только что с мешком.— Я знаю, еще одну историю. В ней много занимательного, она кончается хорошо, хотя и похожа на сказку. Она мне поможет, я начинаю...»

И он опять начал на ходу рассказывать, но чувствовал, что ему не хватает сил, потому что это история-сказка, а на свете сейчас не до сказок. Его должна была спасти не сказка, а реальность...

Он шел спотыкаясь, из последних сил. Дома вокруг были похожи на груды пепла. Они могли упасть и рассыпаться, как та сказка, которую он бросил рассказывать на середине...

В домах, однако, было что-то знакомое. Прохожий инстинктивно остановился и взялся за висевший на груди фонарик. Яркий луч вырвал из темноты стену, всю в морозных узорах, плакат, изображавший страшную фашистскую гориллу, шагающую по трупам на фоне пожаров, и надпись: «Уничтожь немецкое чудовище!»

Прохожий вздохнул, как будто проснулся. Мучительный бред мрака кончился. Плакат возвращал к жизни. Он был реальностью. Человек спокойно посмотрел вверх. Он узнал дом, свой дом! Он дошел!

Этим человеком был я.

Были прожиты небывало трудные месяцы. Ленинград превратился в неприступную крепость. Ко всему необычайному привыкли. Ленинградцы, как настоящие советские люди, разрушив все замыслы врагов, оказались невероятно выносливыми, невероятно гордыми и сильными духом. Жить им было

безмерно тяжело, но они видели, что иной жизни нет и ее нечего ждать, пока не будет поражен залегший на годы у стен Ленинграда фашистский дракон. Непрерывная битва стала законом нашей жизни.

...Маленький катер казался мне самолетом, так лихо он не шел, а летел по заливу. Волны сливались в темно-серую дорожку, напоминавшую взлетную.

За пенными бурунами, рассыпавшимися за нашей кормой, изредка вспыхивало что-то оранжевое, особый звук рождался в воздухе, сразу пропадая в гуле мотора.

Командир наклонился к моему уху и закричал, как в трубу: «Немецкие снаряды!»

Он повторил фразу. Тут я сообразил, что нас просто обстреливают с петергофских батарей, но попасть в нас не так-то легко. Снаряды рвались по сторонам.

Вероятно, от Кронштадта до Ораниенбаумского «пятачка», где держала оборону Приморская оперативная группа, мы прошли за несколько минут, а может, это мне показалось с непривычки. Берег появился как-то сразу и вырос такой знакомый с юности, как будто мы приехали в выходной день погулять в зеленом Ораниенбауме. Но это ощущение сразу исчезло, как только я взглянул в сторону.

В небольшой бухте передо мной стоял корабль, который я узнал бы среди всех кораблей мира, потому что он был единственным и неповторимым.

Сейчас он стоял чуть накренившись, на мелкой воде, над его мачтами проплывали, цепляясь за ванты, большие обрывки густой дымовой завесы, из его труб не шел дым, пушки молчали, а может, их уже и не было здесь, но весь вид корабля был боевой и упрямый. Вокруг него и на море и на берегу рвались вражеские снаряды. Фонтаны воды падали на палубу.

И он как будто принимал участие в бою, готовый сражаться до последнего выстрела. Я никак не ожидал увидеть корабль в этой обстановке.

— Это «Аврора»? — спросил я.

— Она самая! — ответили мне.

И мне вдруг понравилось, что старый, видавший виды корабль не эвакуирован в дальний угол тихого рейда, а стоит на переднем крае, одним своим видом внушая уверенность защитникам клочка земли, которые называются Приморской оперативной группой.

Корабль, давший сигнал к началу решающего боя революции, флагман Великого Октября, символ пролетарской победы — в бою с самым смертельным врагом человечества! Может быть, его экипаж ушел на берег, чтобы принять участие вместе с пехотой и артиллерией в сражении, как в те дни, когда десант с «Авроры» шел вместе с рабочими и солдатами на штурм Зимнего.

Трехтрубный красивый корабль, легендарный, поэтический, овеянный немеркнущей славой, казалось, пришел сам, без команды, на этот маленький рейд, чтобы поднять дух людей, напомнить им о той ответственности, какую они приняли на свои плечи. И, в клочьях дымовой завесы, в разрывах снарядов, он действительно казался бессмертным, и всякий, кто его видел, испытывал большое и хорошее волнение.

Сначала можно было не узнать его, но сразу же что-то стучало в сердце, и в следующую минуту каждый говорил: «Да это же «Аврора»! Вот это да!»

И когда я сегодня смотрю на «Аврору» на Неве, на вечном якоре, я вспоминаю тот далекий фронтовой день и корабль в клочьях дымовой завесы, в огне разрывов.

Я не могу не вспомнить многих лиц, оставшихся в памяти, лиц примечательных, имевших свои особенности, свои неповторимые черты.

У французского художника Давида, человека большой биографии и большого мастерства, есть один портрет, который был даже привезен в Советский Союз и показан на выставке картин старых французских художников. Он называется «Торговка овощами».

Эта пожилая женщина, типичная уличная торговка, и с первого взгляда ее портрет как будто не заключает в себе ничего особенного. Но когда вы смотрите на ее лицо, на ее большие трудовые руки, на ее глаза и начинаете соображать, в какие она жила годы, то перед вами являются совершенно неожиданные картины. Она была молодой в те дни, когда рушились стены Бастилии, она шла в рядах народных толп на Тюильри, она кричала: «На эшафот Людовика!», «На гильотину австриячку!»

Она могла бы много порассказать, сойдя с портрета. И Давид недаром избрал ее своей натурой. В этом своенравном лице он воплотил много видевшую свидетельницу своего времени, которая и в пожилом возрасте готова вспомнить жаркие дни,

когда она шла под знаменем революции и пела песни, от которых захватывает дух.

Вот почему ее портрет живет и в наши времена, и мы ощущаем, чем поразила эта простая женщина Парижа прославленного живописца.

Я беру наугад фотографии осадных дней. Старые и молодые защитники города, женщины и мужчины, дети, старики — все знакомые и близкие. Какое разнообразие лиц, как необычны они, как далеки и вместе с тем рядом...

Вот гвардейская санитарка. Обветренное, крепкое, закаленное в огне, словно высеченное из гранита лицо. Чуть прищуренные глаза говорят о неустрашимости, о хладнокровии и о глубокой думе. Так она смотрит, когда соображает, как лучше пробраться к раненому, лежащему под сильным обстрелом, так она смотрит на вражеский берег, откуда надо во что бы то ни стало эвакуировать раненых, а при случае и постоять за себя в смертельной схватке. Она немолода, чуть заметные морщины на высоком лбу. Брови слегка приподняты. Волосы гладко причесаны, спрятаны под синим беретом с красной звездой.

Кто увидит ее, тот не будет спрашивать, почему знак гвардии на ее груди.

Старый педагог, учительница, поправляющая школьные тетради. Седые волосы, лицо как будто обожжено печалью. Но оно доброе, и глаза, которые разучились смеяться, полны каким-то душевным волнением. Этот человек умеет понимать своих учеников, недаром она в самые тяжелые дни не прерывала уроков, и глубокая складка у рта — память о перенесенном.

Высоко над улицей на крыше стоит, как часовой, перед лицом неба, девушка из команды МПВО. Она в ватнике, но она может там стоять и летом и осенью: здесь ее пост, и она здесь всегда. Лицо внимательно, и глаза зоркие, замечающие все, что делается в небе и на земле.

Школьницы с настороженными лицами, сидящие за партами. У них недетское выражение глаз, они слишком много видели такого, чего не нужно видеть детям,— ужасов и крови, но что им делать, если по ним стреляют, когда они идут в школу, и тяжелыми снарядами стараются попасть в здание школы, когда они на уроках. Они выходят из школы, видят развалины большого дома и огромный плакат, на котором женщина с безумным взглядом несет маленькую мертвую девочку. На плакате надпись: «Смерть детоубийцам!»

Но они упорно ежедневно возвращаются, садятся за парты и открывают учебники, потому что с ними педагоги, могу сказать, не боясь старого слова,— люди святого подвига.

И вот портрет мстителя. Это снайпер, человек, пришедший с дальнего севера. Он охотник такой, что бьет белку в глаз. Он может попасть в щель танка, ослепить водителя на ходу. Он может выследить врага, как бы тот ни маскировался. Он — один из многих снайперов. Его лицо с энергичными, сильными линиями кажется застывшим, мучительно напряженным. Но это выражение типично для него. Когда он сосредоточивается, он весь превращается в натянутую струну. Но вот его «охота» была удачна. Лицо мягчеет, и перед вами молодой, скромный, тихий человек, который смеется как-то очень застенчиво.

Моряк, Герой Советского Союза. Командир подводной лодки, прорвавшейся сквозь смертельные преграды и ловушки на простор открытого моря, чтобы наносить удары на морских далеких путях. У него умные глаза с огоньком. Лицо грустно и настороженно. Откуда может взяться веселье у человека, обдумывающего новый поход сквозь смерть, ответственного за вверенных ему людей, за корабль, за исход головоломной операции?

Но по выражению глаз видно, какая богатая душа у этого героя, какая отвага, серьезность свойственны его боевой натуре.

Кто же снабжает воинов суши и моря снарядами, бомбами, торпедами? Старый рабочий, которому пора бы отдыхать от трудов праведных, проработав сорок лет на заводе, трудится снова. В замасленном ватнике, в старой теплой шапке, в очках, спустившихся на кончик носа, с седой бородкой и подстриженными усами, готовит он «подарки» для врагов Ленинграда.

Я могу долго смотреть на эту фотографию, потому что она выразительна и правдива без прикрас. Кроме того, он напоминает мне старого питерского его собрата, ленинградского мастера. Переживший все ужасы жестокой зимы, варварство бомбардировок, испытавший смертельную усталость от непосильных трудов, мастер этот признался мне, что на него раз напала большая тоска.

Тогда он поставил перед собой фотографию покойной жены, суровой, строгой и справедливой ленинградской женщины, и написал ей письмо, взволнованное, полное человеческой страсти, прося ее помочь ему, как она помогала всю трудовую жизнь.

Разговор его с карточкой жены, перед которой он прочел письмо вслух, воспоминания, раздумье — все это вернуло ему крепость воли. Он пришел на свое рабочее место сильным, успокоенным человеком. Я писал об этом во время блокады.

Беру фото, на котором женщина сортирует снаряды, смотря на них слегка затуманенным взглядом. Женщина знает, что они несут смерть фашистам, и поэтому-то так тщательно проверяет их. Это ее месть за мужа, погибшего в бою. Она — ленинградская вдова, одна из тысяч пришла и попросила дать ей возможность работать на оборону. И ей дали. Ее лицо — готовая натура для скульптора. Она так сосредоточенно наклонилась над снарядами, точно хочет вдохнуть в них свое тайное желание, невольно вспоминая свою потерю. Если бы женщина могла, она сама нацелила бы орудие и выпустила снаряды по врагу.

Я вижу на фото двух деятельных, опытных работниц, одна проверяет автомат, другая налаживает диск. Тонкие косички второй спускаются по худым плечам. Подруга еще меньше ее; им вместе нет и тридцати лет. Теперь они выросли, я не знаю их жизни, но они, верно, вспоминают то далекое время, когда через их ловкие маленькие руки проходило смертоносное оружие. И когда девочек увидел делегат с фронта, благодаривший за продукцию, он, посмотрев на их подружек и друзей, деловитых и серьезных, сказал, дружески ухмыляясь: «Вот, брат, какой пошел нынче рабочий класс! Знай наших!»

И благодарил их и подымал их на руки, ласково говорил, что расскажет о них всем бойцам в окопах.

А лицо работницы с хлебозавода! Прошли страшные дни, когда на улицах падали голодные люди. И все равно хлеб остался для ленинградца не просто обыкновенным продуктом. Он также символ испытаний и общих бедствий, пережитых великим коллективом жителей города. И лицо у женщины, несущей сразу шесть готовых караваев, исполнено сознания высокого долга, гордости за сделанную работу, удовлетворенности, что можно снова отрезать хороший ломоть, а не жалкую порцию, чтобы к рабочему человеку вернулась сила. На лице этой работницы написана целая история перенесенных мучений, но есть и скрытая радость в ее широко открытых глазах.

Сколько этих лиц — солдат, доноров, рабочих, матросов, командиров!

Сколько пейзажей на этих старых фотографиях, где трамвай идет через позицию зенитной батареи, где маскировка

Смольного превращает здание и примыкающие к нему куски сада и площади в парк с аллеями и клумбами; на «ватрушке» перед зданием бывшей Биржи (Военно-морского музея) виден такой блиндаж, как на Малаховом кургане; конь Николая I испуганно косится на пушки перед Исаакиевским собором, а могучие корабли стоят, прижавшись к граниту старой набережной...

Когда смотришь фильм «Русское чудо» Торндайков, то видишь огромную галерею — лица тружеников, создавших Советское государство, представителей всех народов нашей Родины. Какие это впечатляющие лица простых людей и вышедших из народных глубин государственных деятелей, ученых, полководцев!

Когда я вспоминаю ленинградцев — защитников города,— я тоже вижу неисчислимые лица людей, не жалея сил отдавших себя делу защиты города Ленина. Посмотрите на их лица, на которых горит солнце незакатной славы, на лица непокоренных, гордых людей, победителей страшного врага.

Помимо неустанного труда в окопах, на кораблях на батареях, в небе, на земле, на воде и под водою, на заводах и фабриках, в домах и в полях, всюду — люди города-фронта показывали еще искусство воевать, поражать противника самыми новыми приемами, самыми удивительными неожиданностями.

Это искусство войны помогло разгромить фашистов под Ленинградом в январе 1944 года.

...Однажды, уже после окончания войны, были мы с Виссарионом Саяновым у маршала Говорова. Леонид Александрович, как известно, вступил в командование войсками Ленинградского фронта, будучи генерал-лейтенантом артиллерии, весной 1942 года.

Его замечательному таланту многим обязан город Ленина, потому что Говоров взял на себя руководство контрбатарейной борьбой, и тогда ленинградские артиллеристы подняли на большую высоту артиллерийскую науку.

Поражая вражеские батареи, они сохранили город от разрушения, спасли его исторические здания и жизни многих людей. Они в решающих боях разгромили все немецкие укрепления, стерли с лица земли технику и живую силу врага, проложили путь к решительной победе.

Разговор с маршалом зашел о временах ленинградской блокады. Говоров рассказывал многие подробности военных

событий того времени. Он был суровый, молчаливый человек, громадных знаний, строгой дисциплины. Но когда увлекался беседой, становился прекрасным рассказчиком.

Саянов спросил его:

— Скажите, пожалуйста, Леонид Александрович, можете ли вы назвать случай особого действия ленинградской артиллерии по защите города от варварских обстрелов?

Говоров подумал, потом пошел к столу, достал из ящика папку, вынул из нее два больших листа, на которых были какие-то схемы. Эти листы он положил перед нами. Помолчал, как бы вспоминая что-то, и заговорил медленно, взвешивая слова, как всегда:

— Отвечаю на ваш вопрос. Пятого ноября тысяча девятьсот сорок третьего года Андрей Александрович Жданов сказал мне после моего очередного доклада о положении на фронте: «Как бы это так сделать, чтобы немцы не очень били по городу в день праздника. Седьмого ноября народу на улицах больше обычного, и жертвы неизбежны. Они, конечно, захотят испортить нам праздник и будут вести огонь с предельной жестокостью... Нельзя ли что-нибудь сделать, помешать им в этом?»

И я сказал ему тогда: «Немцы Седьмого ноября не сделают по городу ни одного выстрела!»

«Как так?! — начал было Жданов, его, видимо, поразили моя прямота и уверенность. Но, взглянув на меня, он улыбнулся и сказал только: — Я вам верю!»

Я ушел от него и начал думать. Думал я вот над этими бумажками. Посмотрите. Я накладываю прозрачную бумагу со схемой на эту побольше, что на толстой бумаге. Видите, как совпадают, почти точно совпадают повсюду эти условные знаки. Нижняя — это схема расположения немецких батарей, это немецкая схема. Верхняя схема тех же батарей сделана нами,— данные добыты всеми видами нашей разведки. Видите, мы довольно точно знали все три позиции каждой вражеской батареи: основную, ложную и запасную. Кроме того, в нашем распоряжении были сведения о расположении пехотных позиций, аэродромов, железнодорожных станций, штабов, наблюдательных пунктов и так далее.

По иным целям мы еще не стреляли, чтобы не вспугнуть противника, хотя держали под прицелом его огневые точки. И сами имели такие батареи, которые, будучи хорошо замаскированными, стояли на позициях, не делая ни одного выстрела, и поэтому не были отмечены противником. Он и не подозревал об их существовании.

И вот был разработан подробный план, который мы начали приводить в действие ночью шестого ноября. Спокойно спавшие фашисты были неприятно разбужены, когда совершенно неожиданно мы стали громить вражеские батареи, полный самолетов аэродром, бить по штабам, по узлам связи, по наблюдательным пунктам, по эшелонам на станциях. Все сильнее и болезненнее были наши удары. И враг наконец раскачался, начал отвечать во всю силу. Уже к шести утра немецкая артиллерия яростно била по известным им батареям и судорожно засекала новые, о которых не знала. Так всю ночь и утро длился этот поединок. Немцы бросали свои залпы, перенося их с одной цели на другую. И когда мы открыли огонь на подавление, немцы ввели резервные артиллерийские дивизионы. К полудню двадцать четыре немецкие батареи неистовствовали. Тогда я дал приказ начать действовать морякам, морской артиллерии.

После такого оглушительного поединка немцы стали постепенно сдавать. Их огонь наконец совсем стих, лишь отдельные орудия еще продолжали огрызаться. Но все снаряды ложились только в расположении нашей обороны. Ленинградцы слышали всю стрельбу, грохот стоял над городом, но разрывов немецких снарядов нигде не наблюдалось на улицах, и все удивлялись, что немцы не обстреливают город.

День прошел без приключений. Вечером Жданов увидел меня, радостно сказал: «Поздравляю! Артиллерия сдержала слово. Ни одного снаряда в Ленинграде за весь день не упало. Как вы это сделали?»

Я рассказал о предпринятой операции. Он выслушал и сказал: «С такой артиллерией мы можем совершить большие дела...»

А мы тогда готовились к разгрому немецких позиций под Ленинградом. Как вы знаете, войска Ленинградского фронта совершили большое дело — освободили Ленинград, далеко прогнали фашистов от города. А этот случай показывает, как артиллеристы своим искусством защищали и сохраняли Ленинград!

Говоров довольно усмехнулся в свои короткие усы и добавил:

— По Берлину первые выстрелы сделали артиллеристы-ленинградцы. Они заслужили эту честь!

ПОЕДИНОК

Немецкий летчик отчетливо видел свою добычу: посреди похожего на зеленый пирог леса проходила узкая желтая полоса. Там по насыпи полз длинный состав с военным грузом, и пикировать на лес было просто незачем. Надо только подождать, когда поезд приблизится к выходу на открытое пространство между двумя лесами, и тут разбомбить его спокойно и безошибочно.

Самолет развернулся, потом, проблистав на солнце, сделал еще круг и, набрав высоту, нырнул в пике. Два фонтана грязи и земли встали по обе стороны насыпи там, где полагалось быть поезду. Но когда летчик посмотрел на лес, то он увидел, что поезд, дойдя до открытого пространства, стремительно бросился назад, в лес. Бомбы легли зря.

Летчик сделал еще круг, решив, что теперь он уже не промахнется. Поезд мчался по открытому пространству. Откуда он мог знать, что теперь ему приготовлена встреча в лесу и тяжелые сосны повалятся на вагоны, сброшенные со своих мест гремящим ударом? Сосны упали впустую. Поезд проскочил это место. Бомбы снова были потрачены понапрасну.

Летчик выругался. Неужели этот неповоротливый длинный извозчичий состав сможет пройти безнаказанно? Он спикировал прямо на лес, на середину состава. Возможно, он плохо рассчитал, возможно, тут произошла какая-то случайность, но бомбы попали не в поезд, а в лес. Неуловимый состав продолжал свой путь, упрямо идя вперед.

— Спокойствие! — сказал немецкий летчик.— Теперь мы поговорим всерьез.

Он стал рассчитывать, строго и внимательно озирая пространство. Его даже увлекала эта непростая охота.

Он ринулся опять из облаков к самой земле, туда, где прозрачная полоска дыма дрожала в раскаленном воздухе. Казалось, он врежется в паровоз. Но кто-то будто вынул из-под него поезд в последнюю минуту. Грохот взрыва жил еще в ушах, но было ясное ощущение: впустую. Он посмотрел вниз: так и есть. Поезд шел, не пострадав ничуть.

Летчик понял, что чья-то не менее упорная воля не уступает ему, что у машиниста железный глаз, расчет удивительный и точный, что не так-то легко его поймать.

Поединок длился. Бомбы ложились впереди, сзади, по бокам поезда, но это чудовище, как называл его про себя немец, шло к станции, как будто его охраняли невидимые духи.

Поезд делал какие-то дикие прыжки, все сцепления визжали неистово, на спуске он мчался, как лошадь с закушенным мундштуком, и не лез вперед именно тогда, когда его ждали очередные бомбы.

Он шел назад, останавливался, плелся шагом, летел, как стрела,— чего только не выкидывал этот скучный длинный состав, покорный своему водителю! Бомбы рвались, как хлопушки.

Летчик был в поту. Он плевал вниз и снова и снова бросался в атаку. Последний раз он угадал правильно. Поезду не спастись. Машинист впервые дал ошибку. Проклятие сорвалось с обветренных губ фашиста: бомбы все... бомбить нечем!

Тогда он прошелся вдоль поезда, осыпая его пулеметными очередями, но тут явился снова лес,— какой-то дьявол подкинул его некстати,— и поезд снова невредимо катил в зеленом мраке, и, казалось, его ничто не берет. Фашист обезумел. Он целил в паровоз, в этого скрытого там, за тонкой стенкой, врага, в этого страшного русского рабочего, что смеется над всем его мужеством аса и ведет свой поезд по простору полей и лесов как сумасшедший... Пули проносились над поездом, некоторые попали куда-то под колеса, звякали в рельсы, но поезд шел...



Летчик откинулся в изнеможении. Небо сияло. Была хрустальная ровная осень, чем-то похожая на вестфальскую далекую осень. Патроны кончены. Поединок кончен. Русский там, внизу, победил. Ударить в него всей машиной? Безумие остановить безумием? Дрожь прошла по спине фашиста.

Он снизился и с любопытством и ненавистью прошел над поездом. Он не мог видеть, что за ним следит пристальный глаз машиниста. Машинист сказал только: «Что, гад, взял?»

И паровоз с презрением пересек черную тень, раздавив ее, тень вражеского самолета, распростертую на пути.

ЛЮДИ НА ПЛОТУ

Пароход тонул. Его корма высоко поднялась над водой, и над ней стояла стена черной угольной пыли. Бомба ударила как раз в середину корабля и выбросила со дна угольных ям эту пыль, которая медленно оседала на головы плавающих, на обломки, на уходившую в морскую бездну корму.

Среди прыгнувших в холодную воду Финского залива мирных пассажиров был один фотограф. Тяжелый футляр с лейкой и разным фотографическим имуществом, висевший на ремне через плечо, тянул его книзу. Тусклая зеленая вода шумела в ушах, с неба рокотали моторы немецкого бомбардировщика, разбойничье атаковавшего этот маленький тихий пароход, на котором не было ни одного орудия, ни одной винтовки. Были женщины и дети, старики и больные, но военных на нем не было.

Фотограф решил, что с жизнью все кончено и что мучить себя лишними движениями, свойственными утопающему, не стоит. Он попытался представить себе, что это скучный и кошмарный сон, но, увы, вода попадала ему в рот, в глаза, тело странно онемело, не чувствовало холода.

Он скрестил руки на груди, закрыл глаза и постарался представить себе жену и детей в последний раз.

Смутно в сознании возникли они и пропали, как будто их размыли волны. Он нырнул с головой и пошел на дно. Но он не

дошел до дна. Вода выбросила его вверх. Полузадушенный, полураздавленный волной, он оказался снова наверху и, раскрыв глаза, увидел море, усеянное человеческими головами, низкое солнце, свинцовые тучи и услышал треск пулеметов.

Это немецкий пират, проносясь над тонущими, расстреливал их.

Фотографу стало так противно и непереносимо, что он решил уйти снова под воду. Он опять скрестил руки, и опять тяжелый футляр, которым он дорожил, как дорожат самым дорогим оружием, потянул его в зеленую глубину. Какая-то слабость начала проникать в тело. Ноги стали вялыми, и в голове все спуталось.

И снова волна выбросила его наверх, но он уже не раскрывал глаз, боясь увидеть новое страшное зрелище. Покачавшись с закрытыми глазами среди пенистых гребней, он был словно повален и сдавлен двумя волнами, которые как бы боролись за него, волоча его из стороны в сторону. Так они играли им некоторое время, и — странное дело! — в его голове чуть прояснело.

«Это, несомненно, последние вспышки мысли,— подумал он,— это то, что называется умирать в полном сознании».

Тут его подняло стремительно вверх, и он, до сих пор не ощущавший никакой боли, почувствовал резкий удар в плечо и, открыв глаза, увидел, что его подняло рядом с плотом. Взглянув на это шаткое и жалкое сооружение, сделанное в смертельную минуту поспешно и нерасчетливо, он, окинув глазом его пассажиров, никак не осмелился попытаться вскарабкаться на него, и только схватился руками за край досок и, высунувшись из воды, вдохнул полную грудь свежего воздуха.

Освеженный, он откинул со лба мокрые волосы и стал смотреть на плот другими глазами. На плоту сидели трое мужчин и одна молодая женщина. Мужчины были мокры до нитки, молчаливы и мрачны. Они крепко вцепились в доски и не смотрели на женщину. Женщина же непрерывно кричала ужасным голосом: то громко и пронзительно, то истошно и жалобно звучал он над пустыней моря.

Ее исцарапанные щеки и растрепанные волосы, широко открытые глаза — все говорило о последней степени отчаяния, которое уже не рассуждает. Изорванная в клочья одежда мужчин, их нахмуренные лица, крепко сжатые губы — все это было так близко от фотографа, что он невольно переводил взгляд от

молчаливой неподвижности мужчин к судорожным движениям женщины, кричавшей так, что даже он, полуоглохший подводный житель, был оглушен этим криком.

Приподнявшись над досками, выплевывая горькую воду изо рта, фотограф обратился к неподвижным мужчинам:

— Что вы, не можете успокоить эту женщину?

На него посмотрели равнодушно и мрачно. Плот очень качало, и фотограф должен был напрячь всю силу, чтобы его не сбило под доски. Прокатившийся над его головой вал окончательно вернул ему спокойствие. Потом так приятно было держаться за твердые доски...

Он спросил, как ему показалось, громовым голосом, чтобы перебить крик женщины, рвавшей на себе одежду, смотревшей куда-то вдаль, откуда надвигался вечер:

— Кто здесь коммунист?

Сидевший вблизи человек посмотрел на него в упор сверху вниз и сказал: «Я...» — и протянул руку, чтобы помочь фотографу взобраться на плот.

— Так что же вы, товарищ? — сказал медленно фотограф.— Женщина так кричит, надо же ее успокоить,— вы, товарищ...

Тут огромная волна подбросила плот, и люди на плоту исчезли куда-то во мглу, а фотограф ушел в глубину, на которой он еще не бывал,— так тяжело ему показалось это новое ныряние.

Когда его выбросило наверх, никакого плота он поблизости не нашел, на него плыли лишь три доски, но оседлать их было не так легко. Они выскальзывали из рук, становились на ребро, и тут он понял, что, если не расстанется со своим футляром, постоянным его спутником, доски уйдут без него в свои скитанья, а с ними — и последний шанс на спасенье, так как вечер уже приближался.

Он со стоном расстегнул пряжку на ремне, и ремень соскочил с его плеча. Футляр пошел на дно. Через мгновенье фотограф лежал на досках, прижимая к щеке их мокрые края, и вода смешивалась с его слезами. Он плакал о гибели своей походной лейки настоящими слезами...

В учреждение, где служил фотограф, пришел высокий мрачный человек со шрамом на лбу и спросил, кто здесь старший, чтобы рассказать ему о смерти фотографа. О том, что они — трое мужчин и одна женщина — спасались после потопления их парохода немецким самолетом на плоту, и к нему подплыл фотограф, и, когда начал говорить, вода смыла и унесла его в море, далеко от плота. Он встречал этого фотографа там, откуда шел пароход. Это был достойный человек и хороший работник... И в эту последнюю страшную минуту он вел себя отлично.

Тут перебили говорившего:

— Вы можете это сами сказать фотографу, так как он в соседней комнате.

— Как в соседней комнате? — закричал рассказывающий.— Он спасен?

— Спасся!

Тут позвали и фотографа. Фотограф узнал того человека, что на плоту ответил ему: «Я».

Он спросил, улыбаясь:

— Ну а как женщина? Успокоили?

Человек со шрамом смутился, но все же ответил:

— Успокоили. Взяли себя в руки и успокоили. Ваш оклик вернул нас всех к жизни. Вы так неожиданно возникли из моря и так неожиданно исчезли, что мы потом, когда спаслись, все время думали о вас и говорили. И я пришел сюда специально рассказать о вашем поведении...

— Ну, какое там поведение,— сказал фотограф.— Вот лейка пошла ко дну. Какая лейка, если бы вы знали!.. Эх!

МАТЬ

— Пойдем навестим его! — сказала мать.

Оля хорошо знала, о ком она говорит. Он — это сын. Олин брат — Боря, доброволец. Он сказал, что идет в армию вместе со всеми товарищами его курса. Мать стояла перед ним, маленькая, прямая, озабоченная.

— Ты близорук и слаб здоровьем,— сказала она.— Ты не боишься?

— Ничего, мама,— ответил Боря.

— Ты никогда не воевал, тебе будет очень трудно...

— Ничего, мама,— сказал Боря, собирая свой мешок.

...Мать с Олей ходили не раз в ту деревню, где он учился военному делу. Он приходил с занятий возбужденный, усталый, запылившийся, загорелый, садился, и они разговаривали о городе, о знакомых, о друзьях. О войне они ничего не говорили, потому что вокруг и так все было полно войной.

Для Оли прогулки к брату за город казались обыкновенными летними дачными прогулками по знакомым пригородным местам. Они возвращались, собрав в поле цветы, к электрическому поезду и приезжали в вечерний город, полный суеты и военной озабоченности.

Только в последнее время все перепуталось. Фронт проходил уже где-то близко, и Олю беспокоило, как они отыщут брата сегодня, когда все стало непохожим на те воскресенья, тихие и дачные, в которые они приезжали навещать Борю.

Они шли по полям, уже по-осеннему пустым, дачи стояли заколоченные, навстречу им двигались возы, машины, у дороги суетились беженцы с детьми, с узлами, с мешками за спиной, из канавы убитая лошадь подымала деревянные ноги к небу, проходили бойцы, звеня котелками, где-то поблизости оглушительно стреляли.

Они уже далеко ушли от шумного шоссе.

Они шли знакомой тропинкой, но вокруг все было не так и не то: поломанные изгороди, отсутствие людей, какая-то настороженность, тревога, ожидание чего-то грозного. В поле под кустами лежали красноармейцы у пулеметов, замаскировавшись возками, и когда они вошли в первую деревню, она была пуста, совсем-совсем пуста. Даже воробьи не кувыркались в пыли, не было видно ни одной курицы, ни одной собаки. Дым не шел из труб, сиротливо стояли перед домами пустые покосившиеся лавки: деревня такой была только в белые ночи перед зарей, когда все спит. Но сейчас никто не спал,— это была пустыня.

Оля храбро шла в тишине этой пустыни за матерью, шагавшей тихими, но уверенными шагами все дальше.

Вторая деревня горела. Когда поднялись на пригорок, они невольно остановились. Рыжие гривы огня метались над крышами, и никто не тушил их. Несколько изб было превращено в кучу обугленных щепок, и это было удивительное зрелище.

Оля потянула мать за рукав, но та сказала спокойно: «Нам нужно пройти к той роще»,— и они пошли по улице между горящих домов. Когда они прошли деревню и спустились в небольшую лощину, раздался какой-то все увеличивающийся визг, он приближался так настойчиво и неотвратимо, что ушам было больно его слушать.

Мать остановилась и нагнула голову. Оля сделала то же самое. Она понимала, что они обе делают не то, что надо броситься на дорогу и лечь лицом к земле,— но ведь им надо идти отыскать Борю, а если они будут падать перед каждым снарядом, то они никогда не дойдут, никогда не увидят его.

Снаряд разорвался за холмом. Фонтан земли медленно спадал в воздухе. Только он осел, ударил другой снаряд.

Дальше они бежали, спотыкаясь, по кустам, так как на дороге непрерывно взметались черные клубы, пересекаемые красными молниями. Оля дрожала всем телом, у нее пересохли губы, но мать шла неумолимо, и Оля следовала за ней с нелепой мыслью: «В нас не попадут, не должны попасть. Не должны...»

Деревни, в которой жил и учился военному делу Боря, просто не было. Вместо нее торчали черные столбы, и кое-где обугленные доски образовали причудливые скопления. Даже деревья сгорели или были вырваны с корнем и валялись среди огромных ям, наполненных мутной зеленоватой водой.

— Мама,— сказала Оля,— куда же идти теперь?

Мать стояла молча. Оле стало жаль ее, такую маленькую, усталую, упрямую.

— Мама,— сказала она снова,— пойдем домой. Ну куда же еще нам идти?

— Пойдем немного вперед,— сказала мать,— там спросим...

И они снова шли. Всюду теперь они видели лежащих в траве, в канавах красноармейцев, смотревших влево. И вдруг им навстречу вышли из маленькой бани три бойца.

Мать направилась к ним и радостно сказала одному из них, высокому, худому, веснушчатому:

— Если не ошибаюсь, вы — Павлик?

Боец удивленно расширил глаза, мгновенье осматривая внимательно маленькую женщину, стоявшую перед ним, и сказал:

— А вы мать Бори, да?

— Да,— сказала она,— я хочу его видеть. Где мне его найти?

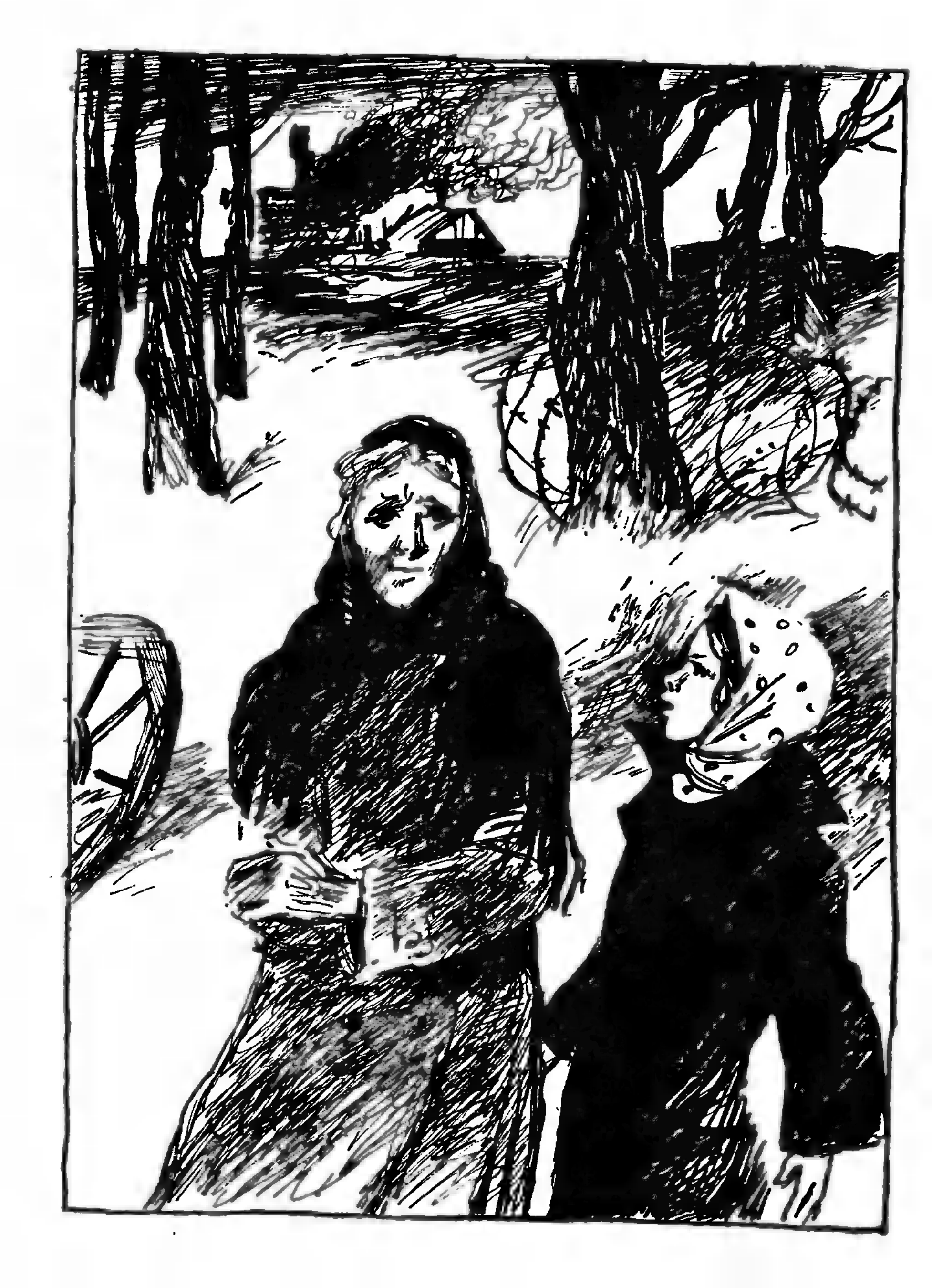
— Найти? — несколько растерянно сказал Павлик.— Идите, как шли, прямо вот на тот холм, но лучше вам и не ходить... Вам его трудно будет найти, а потом...— Он вдруг улыбнулся.— А ведь кругом идет бой, мы почти в окружении, как же вы тут гуляете?..

— Мы не гуляем,— ответила мать,— мне нужно пройти к Боре... Мне нужно.

Она сказала это таким жарким и глубоким голосом, что Павлик — он был из одного института и из одного батальона с Борей — сказал только:

— Ну, идите...

...Мать сидела в высокой траве, прижавшись спиной к бревенчатой стене бани. Оля сидела рядом затаив дыханье. Красноармеец показал вниз, на болотистую, длинную поляну, поросшую кустами. Поляна уводила к лесу, и там, за лесом, на холме, виднелась деревня. Над всей этой местностью стоял, можно сказать, ослепительный грохот. Батарея наша била откуда-то из-за спины по деревне, а немецкие пушки держали



под обстрелом поляну и подступы к той возвышенности, где сидели мать и Оля.

— Они только что ушли в атаку,— говорил красноармеец.— Как хотите, ждите или нет. Они пошли вон туда... В атаку...

— Вы знаете Борю? — спросила мать.

— А как же, знаю. Он тоже там...

— А как он стреляет?

— Он стреляет подходяще...

— И не трусит?

Красноармеец, бывший студент, обидчиво повел плечом.

— Если б трусил, мы бы его в свою компанию не взяли...

Они замолчали оба. Молча смотрели, как горит там деревня на холме, из леса был слышен гул голосов, кричащих «ура» или что-то другое — длинное, слов нельзя было разобрать. Лес, освещенный заревом пожара, казался кровавым.

Мать встала и подошла к краю холма. Она точно хотела увидеть своего сына, найти его в чаще леса, раздираемого боем, увидеть его, бегущего с винтовкой туда, в горящую деревню.

Она стояла долго. Потом она сказала Оле:

— Пойдем,— и, не оглядываясь, пошла к дороге.

— Не будете дожидаться? — закричал красноармеец.

— Нет,— сказала она,— спасибо вам за разговор. Идем, Оля.

Они уже вышли на дорогу.

— Оля,— сказала мать,— ты устала, милая...

— Нет, мама, я боюсь, как мы доберемся. Я чего-то стала трусихой...

Мать усмехнулась своими тонкими губами.

— Ничего с нами не будет, Оля,— сказала она снова, помолчав,— теперь я спокойна. Душа моя спокойна. Я боялась, что он не сможет пойти в бой, что он слаб, что он плохо видит,— и решилась проверить. Я проверила. Мой сын сражается, как все. Больше мне ничего не надо. Пойдем домой.

И она пошла быстрыми маленькими шагами, маленькая, прямая, легкая.

КАРЛИКИ ИДУТ

Маленький Витя мало понимал в делах взрослых, но даже ему в это утро стало ясно, что происходит что-то очень неприятное и тревожное. Через деревню гнали поспешно овец и коров, проезжали телеги, на которых везли много разных домашних вещей, кричали дети, плакали женщины, а где-то совсем близко стреляли пушки.

Его мать с потерянным лицом завязывала какие-то узлы и то и дело говорила ему: «Сиди смирно, не мешай, не до тебя». Потом она смотрела в окно, выбегала на крыльцо, вглядывалась в даль и растерянно говорила сама себе: «Что ж не едет дядя Костя? Да что же это он не едет! Как же мы останемся, этого не может быть...»

Витя тихонько вышел на крыльцо с прутиком в руке и с любопытством смотрел на деревенскую улицу, по которой никогда в такое время не ходило столько народу, никогда не было такого шума и гама. Но все перекрывали пушки. Они то гудели где-то за холмами, то пронзительно рвали воздух как будто совсем рядом.

Одно слово больше других говорили люди, и это слово было — немцы. Витя не мог понять, откуда они взялись и кто они такие. Спрашивать в этой сутолоке было бессмысленно. Взрослым хватало дела без того, чтобы объяснять ему, что происходит. Но волнение матери передавалось ему, и он не мог сидеть спокойно в комнате, неприбранной, с раскиданными вещами,

с грязной посудой на столе, оставшейся от завтрака; он видел, как хозяйская кошка лакает на окошке молоко из горшка, и мать видит эту кошку и не гонит, как будто так и надо.

Он стоял на крыльце, размахивая прутиком, в глубоком раздумье. Борька подошел к нему неслышно и тронул за руку. Витя взглянул на Борьку, ожидая, что и Борька сегодня необыкновенный, но Борька был такой же, только хохол на его голове еще более распетушился, а в глазах блестел тот огонек, который всегда появлялся у него, когда он выдумывал что-нибудь такое, ни на что не похожее. Он это часто выдумывал. Для него отправиться без спросу в лес, на болото или уйти на станцию было любимым удовольствием.

И сейчас, взяв Витю за руку, он сказал ему:

— Идем-ка, я тебе покажу одну штуку... Скорее!

Витя пошел за ним как зачарованный. Борька скользнул по пыли босыми ногами, схватил за руку Витю, повел его по знакомой улице на край деревни. Там на холме стояла старая церковка с высокой колокольней, недоступной для детей, так как старый сторож колхоза всегда держал ее запертой, и ребята только, закидывая головы, смотрели на ее крышу, где гнездились пестрые голуби и ходили там по карнизу, так что даже из рогатки их трудно было достать.

Но сегодня был какой-то шальной день, и дверь на колокольню была открыта, и никакого сторожа нигде не было. Борька шмыгнул первым, и за ним, споткнувшись о выбитую ступеньку, шагнул и Витя. Они долго, крадучись, поднимались все выше и выше. Борька оборачивался на Витю, строил страшные рожи и подымал предостерегающую руку вверх. Витя с беспокойным любопытством оглядывал серые стены, исчерченные разными надписями и рисунками, но разглядывать их не было времени. Они выбрались наконец на самый верх, и солнечный свет ударил им в лицо. Голубой сияющий простор неба раскинулся над холмами. Видны были даже дальние леса, и луга, и речка — все, как на картинке. Витька просунул голову между перил, и у него захватило дух от непривычной высоты.

Минуту он ничего не понимал. Новые ощущения пространства родились в нем.

Борька показал ему пальцем в сторону к оврагу. Оттуда подымались время от времени облачка дыма, раздавался тяжелый удар, сверкал огонь.



— Что это? — спросил он с испугом.

— Чудак,— сказал с достоинством Борька,— это пушки, а там, смотри, это пулеметы наши.

Борька был старше коновод, он все знал. Вдруг над самой колокольней раздался какой-то невнятный громкий щелк, и что-то рассыпалось в воздухе, ударило по ближайшим крышам, по деревьям, полетели листья, зазвенели стекла, раздались крики где-то внизу, среди изб.

Витя не успел присесть от страха на пол, как Борька больно рванул его за руку и закричал:

— Смотри, карлики идут, карлики идут...

Витя подполз и не отрываясь смотрел туда, куда указывал его приятель. Уменьшенные расстоянием, от куста к кусту по лужайке у самой речки шли, согнувшись, какие-то маленькие люди в черном. Они показались и Вите злыми, страшными карликами, которые шли на деревню, чтобы убить и Борьку, и Витю, и маму, и всех, кто был в деревне. Они то останавливались и делали какие-то движения, то падали, снова вставали и прятались в кустах, возникали из ям; их было много, этих карликов, взявшихся неведомо откуда, как в страшной сказке.

Все это было так не похоже на правду, что Витя смотрел, забыв всякий страх. Когда черный столб вырастал между ними и карлики падали, Борька схватывал Витю за руку и вскрикивал от волнения. Теперь снаряды с железным скрежетом и посвистом проносились над колокольней. Зарокотал пулемет откуда-то слева, и карлики упали на землю, чтобы укрыться от него.

Потом они стали по одному ползти дальше. И тут Витя вспомнил, что мама ищет его по деревне, вероятно, кричит и плачет, и что Борька опять «наделал делов», как говорили про него,— надо скорее, скорее бежать отсюда. Правда, эти черные фигурки приковывали его взоры и невозможно было оторваться от них, от их движения, от их нелепых прыжков и падений, но надо было бежать, потому что снаряд ударил где-то совсем близко, и колокольня задрожала, как лошадь на карусели. Витя побежал вниз. Борька бежал за ним, держась за стены.

Витя потерял Борьку, когда они оказались на улице среди возов и людей. Но Вите было не до Борьки. Гул и грохот стрельбы тут, внизу, были гораздо страшнее, и люди кричали еще больше. Витя примчался домой в самый раз. С опухшими от слез глазами, мать едва взглянула на него и закричала:

— Где же ты был, дядя Костя уже приехал. Бери скорее эту кошелку. Скорее, надо уезжать. Немцы идут..

Мама,— сказал он,— я их видел. Мама, не бойся, это карлики...

Но мать его не слушала. Она бежала уже на крыльцо, нагруженная узлами, и за спиной ее висел мешок. На улице стоял грузовик.

Дядя Костя усаживал женщин и детей в грузовик и, весь в пыли — усы его были в белой пыли,— говорил:

— Не торопитесь, все усядутся, все. Не оставим вас, не бойтесь..

Шофер заводил машину. И когда Витина мама тоже уселась на свои узлы, а Витя стоял, держась за борт, он увидел, как на деревенской улице появились среди облака пыли большие грузовики и с них стали соскакивать красноармейцы один за другим. В руках они держали винтовки и, соскочив, строились в ряды тут же, на улице. Витя смотрел с замиранием сердца на их высокие плечистые фигуры, на загорелые молодые лица, на сильные руки, державшие на весу пулемет. Они показались ему необыкновенного роста. Самый маленький из них был много выше тех карликов, что бежали там, по лугам, к деревне. Он сказал матери:

— Вот сейчас попадет карликам...

Мать хотела что-то ему ответить, но шофер, уже севший за руль, тронул машину с места, и она, тяжело вздрогнув, пошла быстрым ходом, обходя грузовики с красноармейцами.

Больше за пылью Витя ничего не мог разобрать, он упал от толчка мамины узлы, и она его прижала к себе. Так он и остался, но он не мог забыть того, что видел с колокольни и что пережил, когда бежал с Борькой. Его маленькое сердце дрожало. Потом он от усталости заснул, потом было много шума, пошел дождь, кричали люди, стали расти дома, дорога стала гладкой, машина пошла ровнее, он просыпался и засыпал. Мать совала ему, сонному, хлеб с маслом. Он спросонья жевал. Но одно осталось у него на всю жизнь: в голубом просторе лугов — черные фигурки злых, страшных карликов и плечистые, красивые, высокие красноармейцы, которые соскакивали с грузовиков, чтобы идти против этих неведомо откуда взявшихся пришельцев.

КОСТЕР

Единственное, чего не умела Анна Сысоева, комиссар медсанбата,— это говорить длинные речи. И сейчас, встав на пень так, чтобы ее отовсюду было видно, и обводя глазами всю пеструю толпу девушек-дружинниц на каменистой поляне, между валунов и камней, под высокими корабельными соснами, она просто сказала:

— Вот что, девушки! На рассвете мы должны эвакуировать всех раненых, всех до единого, и все имущество вниз, к пароходу. Дорог тут нет. Придется прямо по тропочкам, по скалам. Ну, бомбить, возможно, будут. Ну, обстреливать, возможно, будут. Нам не впервые, девушки. Только вот: что касается личного имущества, то его уж побросать придется. Знаю, жалко! У нас всякое есть с собой, на войну не рассчитывали, когда копили, а бросать придется. Вот это имейте в виду. Тряпки все прочь. Первое дело — раненые и медсанбат. Так как, девушки?..

За всех ответила Маруся Волкова.

— Товарищ комиссар, все исполним,— сказала она,— все будет в порядке, только вот...— Тут она запнулась.— Что ж, раз надо... тряпок, что ли, не видели! Да ну их... Будем живы, будут и тряпки.

— Правильно! — закричали со всех сторон.

Но по неуверенным голосам поняла Сысоева, что трудно им расстаться с тряпками и только дисциплина, которую она строго поддерживала в медсанбате, поможет им пережить тяжелую для девиц утрату.

— Вот и хорошо,— сказала Сысоева, не подав виду, что она заметила их неуверенность.— Идите ужинайте, потом будем паковаться. Отдохните, и с рассветом начнем.

Поляна опустела. Сысоева засветло еще проверила тропинки, маршрут утренней эвакуации, работала с санитарами над устройством площадок внизу, у самой воды, чтобы легче было передавать по сходням на пароход раненых, потом сидела с врачами списками, утверждая порядок, потом собрала собственный мешок и чемоданчик с документами — походную канцелярию, как она называла, и вдруг увидела, что уже темно и ночь.

Вокруг было тихо. Она вышла из палатки и стала задумчиво подыматься в гору. Снова вспомнился муж, который дерется там, в арьергарде. Муж вчера прислал только короткую записку, в которой сообщал, что здоров, и его посланец, в манере своего начальника, ответил кратко, что там у них жарко,— и все. Она и сама знала от раненых, поступавших весь день, что идут жестокие бои за береговую полосу, что надо во что бы то ни стало эвакуировать раненых завтра утром. Снаряды уже вчера днем рвались в лесу, рядом с медсанбатом, а к утру берег будет весь под обстрелом.

Тут мысли ее перешли к эвакуированной дочери, девочке, жившей в Ленинграде у тетки, и девушкам-дружинницам. Как они опечалились, узнав, что надо бросать платья, туфли и плащи, пальто шляпки — все то нехитрое богатство их юности, которое они скопили, работая до войны в новых городах перешейка.

Вместо танцев и веселых прогулок такой пышной осенью им пришлось вытаскивать под огнем раненых, пачкаться в крови, в грязи, вязнуть в болотах, мокнуть под проливными дождями, не спать ночей, выносить всякие лишения. Они хорошие, бодрые девушки, храбрые, когда нужно. Та же Маруся Волкова стреляет не хуже снайпера. Как-то они разделались со своими вещичками? Поди, потихоньку роняют слезы. Надо посоветовать им не бросать беспорядочно все вещи, а как-нибудь спрятать их, что ли, в песчаной яме, для порядка.

До нее донесся заглушенный лесом звук голосов, и искры от костра взлетели над кустами. Поднявшись на валун и выглянув из-за толстой ели, прикрытая ее лапчатыми ветвями, она с удивлением увидела зрелище, похожее на оперную сцену, точно она сидела в ложе и перед ней шел сказочный балет.

Дружинницы спускались по скалам в яме, где был разведен большой хрустящий костер. Девушки несли чемоданчики, мешки, просто свертки и, встав на камень над костром, сыпали в его играющее пламя самые разные вещи. В костер летели туфли с золочеными пряжками, цветные кушаки, платья, на которых пестрели цветы, бабочки, кораблики, синие, зеленые, красные платки, которые и в огне не теряли своего цвета. Костер пожирал платочки и ожерелья, бусы и кофточки с отворотами, на которых сверкали металлические слоники и кошки. Костер точно простирал жадно большие красные руки и хватал все, что снова и снова сыпалось с камня. Дым застилал лес и уносился к озеру вниз по узкой щели в камнях.

Все меньше и меньше уже было видно вещей, которые точно плавали в огненной яме, обуглившиеся материи распадались на полоски, и эти разноцветные полоски крутились причудливыми жгутами в синем, постепенно спадавшем пламени, точно костер уже насытился и лениво зевал, пережевывая остатки.

Присев под елью, Сысоева смотрела, как в азарте, толкая друг друга, девушки мешали пламя огромной хворостиной.

Под конец чемоданы и кошелки кучей взгромоздились друг на друга, образовав мавзолей над прахом стольких веселых и легких девичьих вещей. Костер догорал. Чтобы он скорее догорел, девушки размешивали уголья, и когда они посинели, на костер полетели пригоршни песку. Они ретиво засыпали костер. Песок ложился, шипя, на уголья, и его слой становился все толще и толще. И когда там, где был костер, осталось только место, слабо освещенное по краям еще тлевшей травой, взошла луна.

Сысоева смотрела, не сводя глаз с этого странного ночного виденья. Маруся Волкова встала посредине песчаного холмика и громко сказала:

— А хорошо я придумала? Что же, фашистам, что ли, отдавать наше добро, чтобы они хвастались? Да ни в жизнь! А теперь давайте, девушки, в хоровод, только тише, тише...

— Как в анекдоте,— ответил ей чей-то голос.— Постреляем немного, только тихо, тихо...

И девушки, бесшумно соскочив в яму, схватились за руки и пошли плясать над милым пеплом. Они кружились под луной, в тени громадных елей и сосен, сходились и расходились, тени бежали по песчаным стенкам.

— Ну совсем как в опере,— сказала Сысоева и заснула, сама не зная как. Усталость свалила ее, ель прикрыла ее своей мохнатой лапой, и она спала чутко и настороженно, но сладко, и шорох кружившихся внизу девушек слабо долетал до нее.

Она проснулась оттого, что на нее упала ветка, сухая, короткая. Начинался прохладный ветер. Вершины деревьев шумели. Луна была высоко. Прислушалась: всюду тихо. «Может, мне все приснилось?» — подумала Сысоева, потерла онемевшие ноги, встала и, держась за ветви, спустилась к песчаной яме. При свете луны она отчетливо увидела многочисленные следы маленьких ног на песчаном пласте, покрывавшем костер. Песок был тепел и мягок.

Внизу, далеко, сквозь кусты блестело огромное озеро. Где-то высоко кружил самолет.

— Плохо я о них думала,— сказала Сысоева,— думала, что будут плакать, а они молодцы! Я их очень люблю, только никогда им этого не скажу, загордятся. Они думали, все по секрету сделают, а их секрет у меня на ладони. Да и какие же секреты у них от меня? Комиссар я их или нет?

Она развеселилась от этой мысли и стала быстро спускаться к белевшим палаткам медсанбата.

КУКУШКА

Рубахин работал на столбе уверенно, как всегда. Привычно он ощущал кошки, которые вонзились в столб и держали его на весу, привычно осматривался со своей высоты и видел внизу грузовик, на котором лежали запасное колесо, пустой бидон, веревки и тряпки. Сизов возился с мотором, Пахомов выбирал инструменты из ящика. Вокруг был знакомый пейзаж, много раз уже виденный и перевиденный. Вдали возвышались замаскированные цистерны какого-то склада, высокие желтые заборы с грибом часового на углу, насыпь, делавшая поворот, несколько маленьких домиков в тени одиноких пыльных деревьев и асфальтированная дорога, кончавшаяся шлагбаумом с будкой.

В утреннем прохладном ветерке уже ощущалось приближение осени, и если бы не эти порванные обстрелом провода, он, линейный монтер Рубахин, нашел бы все обыкновенным. Работай, посвистывая себе под нос, не первый раз делаешь такое!

По дороге брели одинокие прохожие, пробегали грузовики, где-то там, у дальних холмов, рокотали пулеметы, а если круто повернуть голову, увидишь в синеватой дымке море городских домов, над которым возвышаются трубы. Из труб тянутся длинные полосы пестрого дыма, как на школьной картинке, которую дочка раскрасила цветными карандашами. «Она у меня художница будет»,— подумал Рубахин. Во время работы мысли

у него были только самые легкие, так как все внимание уходило на другое.

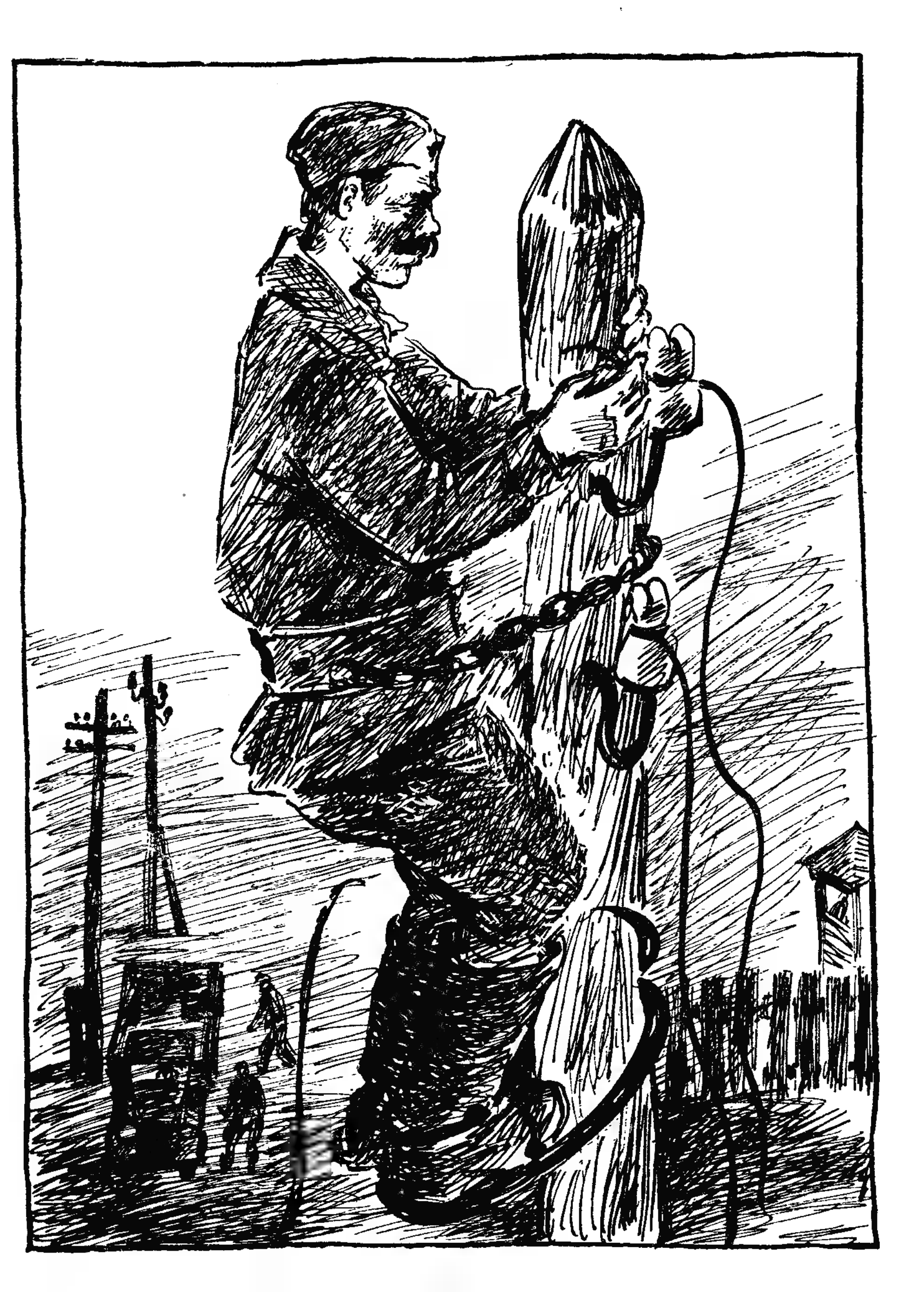
Как началось это, он понял не сразу. Сначала до его ушей дошел какой-то чужой нарастающий звук, от которого голова ушла в плечи; потом дикий грохот раскатился вокруг, и ему показалось, что он летит куда-то вбок. Но вот он пришел в себя, и только огромное сизое облако, ползшее к нему, да тошнота, подступавшая к горлу, сказали ему, что случилось. Потом он услышал крики. Вслушавшись, напрягая слух, он разобрал, что ему кричал Пахомов, приложив ладони ребром к губам: «Рубахин, слезай, слезай сейчас же!» Крик был настойчивый и испуганный.

И, перекрывая крик, снова возникло могучее гудение, как будто давившее все остальные звуки, проникавшее в плечи, в спину, грозившее, как ураган, смести все вокруг, и он увидел, как на дороге взметнулась пыль, точно ее прочесал огромный гребень.

Нет, он не слезет. Не первый раз он попадает в такую перепалку. Рубахин не мог видеть хищника, который пронесся над ним, но он чувствовал всем существом, что висит в воздухе, беззащитный, как этот столб на дороге, к которому он прикреплен. Он не смотрел уже вниз и по сторонам. Он собрал все внимание и ушел в работу, как будто за ним не охотился тот, что сейчас промчался ввысь. Рубахин знал, что «тот» вернется, и сколько раз он будет возвращаться, об этом Рубахин не думал.

Пот выступил на его лбу, мускулы сразу размякли, во рту была пыль с песком, хрустевшим на зубах. Снова грохот взрыва раздался сзади него, подальше. Его ударило землей в плечи, как будто черная волна перекатилась через его голову. Рубахин работал теперь с полузакрытыми глазами. Разноцветный туман плавал над дорогой. Он впал в странное состояние, при котором он помнил одно и видел только одно: повреждение на линии надо исправить. «Срочно исправить!» — сказано в его наряде. «Срочно исправить!» С этого мгновения все вокруг стало нереальным, как во сне.

Грохот, переходивший в вой, кружил над ним; казалось, что столб сейчас улетит, распавшись на куски: яростное жужжание наполняло все небо; треск, как раскаленная дробь, прыгавшая по металлическим плитам, отдавался в ушах; болело все тело. Но ведь сколько раз было так. Неужели сегодня это в последний раз? А может, Рубахину только кажется, что он жив,



а его уже нет, и этот туман и грохот — только продолжение еще живущего сознания... Собрав остатки сил, он закричал хриплым голосом неизвестно кому; да еще кричал ли он — может, его крик просто звучал, как хриплый шепот, который некому было и слышать. Он кричал:

— Не слезу!

Он не помнил своих движений и не мог бы связанно рассказать, в какой последовательности двигались его руки; но они, эти чудесные руки, как бы жили отдельно, они делали свое дело, и он доверял им и знал, что они делают свое дело хорошо. Какая-то торжественная тишина наступила в мире, и в ней он услышал тонкий, четкий крик птицы. Он слышал, что это кукует кукушка. Он жадно считал эти удивительные звуки, такие обыкновенные. Ему показалось, что он стоит на лесной поляне и кругом него зеленый, прохладный полумрак, где-то журчит ручей, шумят ветви сосен и спокойная птица, как бы утешая, говорит с ним.

Он считал, как кукушка выстукивала. Радость пронизывала все его существо. Шесть, семь, восемь, девять, десять.

— Буду жить! Буду жить! — прошевелил он пыльными губами и глубоко вздохнул.

Снова надвинулось страшное жужжание, и голос птицы исчез, но теперь ему было совсем не страшно. Наступали какие-то мгновения тишины, и ему снова слышался кукушкин ободряющий голос: может быть, она уже и не кричала, и ему только казалось, но и этого сознания было достаточно, чтобы снова ощутить свои плечи и руки и увидеть блестящие кошки, врезавшиеся в мягкую, легкую желтизну столба.

Откуда взялась кукушка, почему кукушка здесь, где нет ни леса, ни тишины, он не думал об этом. Кукушка — это хорошо, это к добру. Жить — вот что било ему в виски, от чего сжималось сердце под черным обшарпанным комбинезоном. И снова находили волны грохочущего дурмана, и столбики пыли кружились на дороге, и где-то вдали, как на картинке, сидела дочка, раскрашивая карандашами, путая цвета,— небо в красную, а дорогу в зеленую краску. И до нее было так далеко, что если слезть со столба и идти, то идти пришлось бы целый день, а то и больше.

Свежий ветер пахнул ему в лицо. Он не мог бы сказать, сколько времени он работал на столбе, но он сделал, что надо,— линия восстановлена. Можно спускаться на землю.

Кукушка, милая, добрая кукушка, кричала в его ушах, когда он, с трудом передвигая онемевшие ноги, коснулся пятнистого щебня у основания столба. Он стоял на дороге, прикрыв глаза рукой от слепящего света, и оглядывался. Он увидел вырванные с корнями молодые деревца, опрокинувшие на дорогу свои молодые побуревшие вершины. Он увидел догоравший грузовик, так странно повалившийся набок, увидел ничком лежавшего человека, из-под головы которого, как нарисованные на светлом асфальте, виднелись три черные струйки.

Он оглянулся на столб. Столб был избит, как будто его хлестали железным бичом, но ни один рубец не подымался по столбу выше человеческого роста.

— Рубахин! — закричали ему.— Ты жив, Рубахин?

Он пошел на голос, шатаясь. Из кустов вышел бледный, почти в лохмотьях, человек, в котором он признал Андреева. И тут же он увидел «пикап», с которого соскакивали люди, санитарную машину и носилки, на которых лежал стонавший изредка раненый.

— Это Сизова задело! — кричал ему почти в ухо Андреев.

Он подошел к лежавшему на дороге, наклонился над ним, потер почему-то свою продранную коленку и сказал тихо:

— Сизов! Эх, Сизов!

— А ты, Рубахин, цел, весь? — закричал снова Андреев, подходя к Рубахину.

Рубахин осмотрел себя. Брюки его были порваны, рукава комбинезона висели клочьями. Нет, он был цел... Он увидел опять голубое небо с почти летними облаками, маленькие домики, до которых рукой подать, шоссе, по которому катились грузовики, и на железной дороге — дымок приближающегося состава.

— Надо ехать дальше,— сказал он строго.— У нас еще есть наряд.

— Я знаю,— ответил Андреев,— вон и «пикап».

Садясь в «пикап», Рубахин видел, как уносили безжизненно мотавшего руками Сизова, как захлопнулись дверцы санитарной машины за носилками, на которых тихо стонал Пахомов. «Пикап» тронулся. В мире наступила тишина, и сердце Рубахина билось, как после долгого бега по холмам.

«Пикап» дошел до поворота дороги, и тут, вскочив с места, в первый раз Рубахин закричал: «Стой! Стой! Остановись!» — так громко, что шофер сразу затормозил. Рубахин соскочил с

машины и, переваливаясь, пошел тяжелым шагом к домику с открытым окном, таким приветливым и маленьким. По стенке домика вился плющ, у домика зеленели грядки, и в клумбе подымал головку какой-то чахлый цветочек. В окошке виднелась головка крошечной девочки.

И в тишине садика, в котором не было ни одного дерева, ясно и четко куковала кукушка. Она размеренно и уверенно колдовала Рубахину долгую жизнь. Это был тот таинственный голос, который дал ему силы там, на столбе, в страшные минуты, когда земля содрогалась от взрывов и пули взрывали пыль на дороге. Бантик в косичке крошечной девочки был такой зелененький, как эта зелень на узких грядках, а за спиной девочки куковала кукушка, наполняя все своим победным кукованьем.

Девочка с удивлением, морща бровки, смотрела, как огромный, тяжелый дядя в рваном комбинезоне легким движением отстранил ее и, просунув голову, оглядывал комнату. Отодвинувшись и не зная, что делать — заплакать или закричать, смотрела девочка, как этот дядя, соскочивший с машины, не отрываясь глядит на старые большие часы, под которыми качались гири, а наверху, высунув желтую смешную голову, маленькая птичка кланяется в окошко своего домика и выстукивает своим кукованьем, что сейчас в мире одиннадцать часов.

— Это твоя кукушка? — спросил Рубахин.

Девочка, от растерянности забывшая заплакать, ответила медленно:

— Моя.

— Береги ее,— сказал Рубахин.— Эх ты, маленькая!..

И, поцеловав девочку, он быстро зашагал к «пикапу», где все с недоумением следили за ним. Он влез в «пикап» и сказал:

— Пошел дальше...

— Знакомая, что ли? — спросил Андреев, сморкаясь в большой клетчатый платок и вытирая пыль со лба.

— Знакомая,— ответил Рубахин не сразу,— кукушка!

— Ну, уж ты скажешь! — сказал Андреев.— И совсем девчонка на кукушку не похожа. Правда, из окна, как из гнезда, глядит, но уж кукушка — нет, совсем не похожа.

«Пикап» тронулся.

ДЕВУШКА НА КРЫШЕ

Она была самая обыкновенная девушка, каких много в Ленинграде. Вы встретите сейчас их целые стайки. Одни чинно идут в ногу и поют красноармейские песни, у других на плечах лопаты и кирки — они направляются строить дзот на углу улицы, известной вам с детства, третьи стоят в очереди в кино, где показывают «Богатую невесту». У них загорелые щеки и лукавые глаза, сильные руки и какая-то особая подобранность. Они легко краснеют, но смутить их трудно. За острым словом они в карман не лезут. Видали они такое за время осады, что опыт их равен опытам их мамаш и бабушек, сложенным вместе. Почти все они умеют стрелять или знают санитарное дело. Те, что в военной форме, гордятся ею на зависть штатским подругам, но мечтают втайне о новых шляпах и платьях и все не прочь потанцевать в свободный час.

Наташа была такой же, одной из тысяч. Я разговорился с ней случайно и совсем не как корреспондент. У меня не было никакого желания вытаскивать из кармана записную книжку и карандаш. Но все-таки я спросил ее:

— Что ж вы делали этот год?

— Я сидела на крыше,— ответила она серьезно, и в честных серых глазах было написано, что она говорит правду.

— Она, как кошка, любит бегать по крыше,— сказала ее подружка, смеясь.

— Я не кошка,— ответила она,— кошек в городе больше нет, а у меня на крыше был пост, и я с прошлой осени охраняла свой объект.

— Вы дежурили днем или ночью?

— Когда тревога, тогда я дежурила. А помните, какие прошлой осенью были долгие тревоги? Стоишь, стоишь, прозябнешь вся, а как это начнется, так сразу согреешься...

— Что — это?

— Ну, когда пальба подымется, и «он» тут над головой зудит, зудит, потом как хватит бомбой или зажигалки посыплются, уж тогда только держись...

— А вы бомбы видели?

— А как же, кто их не видел. У меня с вышки все видно как на ладони... Сначала, пока бомбежек не было, мы в лунные ночи у трубы сидели и город рассматривали, даже Байрона читали при луне. Тихо-тихо в воздухе, по улицам редко-редко когда машина пройдет; странно, точно сама летишь над городом, такой он серебряный, чеканный, каждую крышу, каждый шпиль далеко видишь. Глаз свой приучала, чтоб разбираться, где что. А в небе аэростаты. На земле они, днем, как гусеницы,— толстые, зеленые, а ночью, в воздухе, как белые киты, плавают под облаками. Луна так встанет, что шпиль крепости прямо в ее середине, или полумесяцем, розовый, как долька апельсина, или он как голубой парус далекий, если тонкой тучкой закрыт. По крыше мы, как в Детском по парку, гуляли.

— А зимой какой город?

— Когда снег выпал и мороз,— на крыше скользко, нигде просто не пройдешь, того и гляди, сковырнешься; но тут я альпинистскую технику применяла. Я в альпиниаде участвовала, у меня ботинки с гвоздиками, с морозками. Снежные карнизы висят, как на леднике, и город походить стал на горный хребет — весь завален снегом, дома темные, как скалы, и вдруг все как осветится взрывом, вспыхнут пожары. И видишь, где что горит. Жутко! И потом чувство такое, что фашиста поганого так же б прихлопнуть, а его не видно. Прожекторы шарят, а его нет. И стрельба такая, что уши затыкай. Потом свои же осколки по крыше бьют... Все трубы в царапинах, кирпичи посбиты. Я тогда каску надевала. Но пожары тушили очень скоро, и снова все темно. А зима не кончается. Дни за днями длинные, длинные, как на Северном полюсе. Как насыпал раз фашист зажигалок! Вот набросал! И там зеленый, лиловый, красный, синий огонь,

нестрашный такой, а смотри — не зевай! Я какие тушила, а какие сбрасывала с крыш вниз, на улице они горели зловещим таким огнем. Зажигалок мы с подругами много потушили. Я одну даже домой принесла, а потом выкинула: смрад шел уж очень от нее, противная. Как мертвая ящерица, ну ее к черту. И фашист понял, что бросает зря — все их не боятся и даже говорят: «Пусть зажигательные, только бы фугасок не было».

— А весной какой город? — спросил я.

— Что я вам — писатель, город описывать? — ответила Наташа.— Весной я не умею так хорошо разбираться. Весной я все больше над жизнью задумывалась. Надоела мне крыша. Подруги — кто в дружинницы, кто в армию ушел, кто в милицию, кто эвакуировался — заболел, а мне говорят: ты и здесь нужна, ты — инструктор. А я весной, от воздуха, что ли, на крыше пьянела. И город было не узнать. Как стал снег таять, небо голубое с красным, будто город из черного ящика вынули и обмахивают каждый день метелкой. Он вымытый стал, чистый, все крыши видны, только на иных дыры от снарядов, а в бинокль посмотришь, и видно, от снарядов дыры в стенах и стекол нет.

— О чем же вы думали на крыше? Вы сами говорите, что задумывались о жизни...

— Я все думала, какая разоренная стала наша Россия. Вот я ездила к тете, в Калинин, и на Селигере бывала с экскурсией. Ведь там одни развалины. И куда от Ленинграда ни пойди — тоже развалины. Парки порублены, дворцы разграблены, городки сожжены, деревни тоже. Пустыня какая-то! Жителей убили, или в плен увели, или они в лес убежали. Вот я и думала, кем после войны стать, чтобы скорее помочь все это восстановить. Выходило, что надо столько профессий знать, что одному человеку не под силу. И архитекторы нужны, и инженеры, и путейцы, и доктора, и техники, и учителя, и агрономы. Все ведь это нам — молодежи — на своих плечах подымать придется. Все, что фашистская гадина запакостила, очистить своими руками надо будет. Я уж в партизанки просилась — не пустили; сиди, говорят, на крыше. Сижу. Прилетают их разведчики. На грязи на какой-то летают. У него из-под хвоста длинный грязный дым в воздухе, а я радуюсь — не на чем летать, на какой дряни летают. Наш как даст ему жару — он сразу удирать. И при мне сшибли их несколько...

— Неужели вы видели?

— А как же! Да когда почти над Кронштадтом дерутся,

у меня с вышки видно. Она у меня в таком месте и такая высокая, что оттуда и взморье и город — все видно. Не раз видела, как немцы кверху ногами дымили, только куда падали — не знаю. Я всякий раз в ладоши хлопала от радости. И все, кто дежурил, тоже хлопали...

— А что было летом?

— А летом я влюбилась.

— На крыше?

— Нет, на земле. На крыше в кого влюбишься, что глупости говорите. Я дежурю и вижу: летит самолет, стрельба началась, и он крутится туда-сюда... Вдруг летит на парашюте кто-то. Все ниже парашют, взяла я бинокль. Точно — парашютист, огромный, толстый: думаю, что это за сумасшедший в город на глазах у всех спускается? Ну, куда он упал — не могла уследить. Но только близко где-то. Сменилась с дежурства, спрашиваю: «Где это парашютист тут спустился?» А мне говорит подруга: «Дура ты, какой парашютист, пойдем, я тебе покажу». Побежали мы по переулкам, к одному дому, а там знакомые моряки. Они говорят: «Девушки, осторожнее, подальше держитесь».— «Что такое?» — спрашиваю. Они говорят: «Немец торпеду сбросил на парашюте, и она упала прямо на крышу маленького дома. А так как она была на парашюте, то только крышу проломила своей тяжестью, на чердаке улеглась и лежит. Туда приехал специалист, морской командир, и с ней возится уже сколько времени, потому что к ней доступ труден. Она магнитная, и все железо кровельное, всю крышу к ней притянуло, выгнуло крышу — смешно смотреть. Она, между прочим, стерва такая, может и рвануть! Кто ее душу знает! Она с часовым механизмом». Мы стоим, смотрим на этот дом и дрожим. И я представляю этого героя-моряка — красавец, огромного роста, светловолосый, с голубыми глазами, он там один на один с этим чудовищем воюет. Вот это герой!.. Стою и уйти не могу. И все мы страшно волнуемся.

Вдруг говорят: «Кончено. Сейчас ее убирать можно. Кончил командир работу, разрядил ее. Идет отдыхать». Я бросилась вперед. Мне кричат: «Куда?» А я не слышу. И вижу — идет моряк, тихий такой, маленький, усталый. А руки поцарапаны в кровь. Он на часы посмотрел и на меня. Я говорю храбро: «Товарищ начальник, руки я вам перевязать могу. Я умею». Он улыбнулся и сказал: «Спасибо, пустяки. До свадьбы заживет. Мне некогда. Нужно сейчас еще одну такую штуку поспешить

обезвредить». И тут ему дали машину, и он уехал. А я смотрю ему вслед и плачу как дура. И чувствую, что никогда не забуду. Но ведь сейчас надо всем воевать. Ну что ж, будем воевать. А вдруг где-нибудь еще и встретимся. Вот тогда я ему все, что думаю, скажу. А сейчас надо быть на своем боевом посту, и все. Правда, с моего-то поста, с крыши, вся молодежь разбежалась. А мне нельзя. Я инструктор. Я смену приготовила. Буду второй год свой объект защищать. Мой объект важный, не могу сказать какой,— военная тайна. Вот кончится война, с крыши слезу и займусь земными делами. Одно утешение — как посмотришь на наши самолеты, думаешь: они тоже с неба не слезают, день и ночь нас сторожат, еще выше меня, еще от земли дальше.

— Так вы тоже герой, Наташа!

— Бросьте вы; нам, ленинградцам, надоело уже в героях ходить. Самые обыкновенные; чтобы в героях ходить, нам еще знаете сколько надо прибавить и умения, и старания, и храбрости. Вот врага прогнать надо, тогда и посмотрим, кто лучше других его бил, а до тех пор надо еще себя знаете как воспитывать! Я как-то скулила, а знакомый моряк говорит: «Не скули, мой пост — палуба, твой пост — крыша. Ты на крыше, как на палубе, объект — корабль, плыви, и чтоб курс был верный — к победе». Вот как он меня здорово отбрил. С тех пор скулить бросила. Стою и служу безропотно, и только стараюсь, чтоб лучше было...

НИЗАМИ

Великого азербайджанского поэта звали Низами. Полное его имя звучало пышно и торжественно: Шейх Низами оддин Абу Мохаммед Ильяс ибн Юсуф Гянджеви,— но он был скромный и простой человек. Он родился восемьсот лет назад, на берегах Ганджи-Чая, в древнем городе Гандже.

Кровавые цари истребляли тогда целые страны. Но поэта нельзя было купить или развратить роскошью дворцов. Он сидел на рваном войлоке вместо ковра, и вместо сокровищ перед ним были книга и чернила, рядом лежал его дорожный посох. Ковры истлели в султанских покоях, дворцы стали развалинами, сокровища исчезли по разным странам, а миру остались стихи — бессмертные сокровища человеческого гения. Так Низами победил султанов и богачей, победил время.

Мы отмечали день его рождения в осажденном Ленинграде. В холодных залах Эрмитажа читался доклад, звучали приветственные слова. Потом все кончилось, и я оказался в тихой комнатке на Васильевском острове. Комнатка была, вероятно, похожа на ту, в которой трудился Низами. Из восточной роскоши в ней находились только маленький коврик и пепельница в виде верблюда. Множество книг стояло на полках, подернутых пылью. Хозяин, в гимнастерке, с забинтованной головой, разжигал печку старыми журналами, чтобы вскипятить чайник.

Я смотрел на его торчавшие из-под бинтов черные волосы, по которым крались предательские волоски седины. Освещенные раздуваемым пламенем, вспыхивали два зеленых квадратика на воротнике его гимнастерки. Он был лейтенант, ранили его недалеко от Ленинграда. У него был двухнедельный отпуск. Безумный восточник, любивший иранскую поэзию, как русскую, он мог часами наизусть читать певучие строки, странно звенящие в ленинградской комнате.

Мы говорили о стихах, о Низами, о поколении молодых ученых, сменивших тихие кабинеты на окопы, об эпосе современности, о нашем враге, отвергшем все человеческое, о далеком Азербайджане и снова о Низами.

Хозяин, смотря на лижущее чайник пламя и на горящие страницы старых журналов, где кривились огненные буквы и темнели картинки, говорил глухим, простуженным в осенних ночах голосом:

— Низами жил в век ужаса и крови.— Он помолчал и с бледной улыбкой добавил: — Как и мы. Но он никогда не сомневался в силе своего народа, в его суровой правде...

— Как и мы,— сказал я.

— Он знал,— продолжал Королев (восточника звали Николай Федорович Королев),— Низами знал, что не жестокий палач, а добрый человек двигает миром. Слыхали вы что-нибудь о сасанидском царе Ануширване?

Я ничего не мог сказать об этом человеке.

— Так вот о нем рассказывает Низами в своей «Сокровищнице тайн»,— продолжал Королев.— Однажды Ануширван, увлекшись охотой, отдалился от своей свиты. Его сопровождал только один из визирей. Царь и визирь приехали в разрушенную деревню. Все кругом было пусто, всюду возвышались разрушенные дома, не было ни жилья, ни людей. Только на одной из разрушенных стен царь и визирь заметили двух сов, о чем-то говоривших друг с другом. Громкий крик сов, раздавшийся над этими пустынными развалинами, напугал сасанидского царя. «О чем они говорят?» — спросил царь у визиря. Визирь понимал язык птиц. Он сказал, что одна из птиц выдает замуж свою дочь за другую сову и требует в качестве платы за дочь эту разрушенную деревню и еще две деревни из окрестных. Другая отвечает, что она охотно отдаст, ибо до тех пор, пока жив Ануширван, народ останется в нищете и в рабстве, и к этим трем деревням она сможет добавить сотни новых разрушенных домов

и деревень. Так ответил визирь. Низами донес до нас кусок мрака, пепел разрушения. И он написал в горести: «Замолчи, Низами, рассказ оборви. Все давно в крови...»

Королев помолчал. Потом он посмотрел на Неву. Она лежала в тумане осеннего дня.

Он сказал:

— Новый Ануширван пострашней. Он хочет превратить в развалины всю Россию, весь мир. Почему у нас нет силы в искусстве, чтобы описать это чудовище так, как описывал чудовищ своего времени Низами? Вы говорили о сегодняшнем эпосе, но его пока нет. Очень жаль, очень жаль...

— Но он будет,— сказал я.— Пройдет время, Гитлер и вся его человеконенавистническая шайка будут заклеймены великими поэтами и художниками. Мир будет долго помнить палача из палачей, нового Ануширвана. А потом его имя забудется, как мы забыли дела этого сасанидского царька.

— Я почитаю вам стихи на иранском языке. На нем писал Низами.

— Почитайте, только я ничего не пойму...— сказал я.

— Я вам переведу.

Он читал громким торжественным голосом, и мне доставляло странное удовольствие слушать в сумрачной комнате слова, звонкие, как падавшие со стен щиты, медленные, как степная река, гулкие, как обвал. Он читал, сжав руки между колен и чуть покачиваясь в такт ритму. Он смотрел мимо меня на стену, где висел маленький пестрый старый коврик. Когда он кончил, он поправил повязку на голове и начал переводить прочитанное... Речь шла о какой-то ночной битве. Он читал отрывок поэмы.

— Это,— сказал он,— подражание Низами. Слушайте. Направивший взор на эту страницу увидит нижеследующие слова: это был бой, когда земля стала шесть, и небо восемь...

— Постойте,— спросил я,— а что это значит?

— Это значит, что целый слой земли поднялся к небу и образовал восьмой слой неба, а земля уменьшилась на один слой. Слушайте дальше. Они бились утром, когда заря вставала из-за леса, и гром битвы закрывал солнце полдня, и они бились, когда тьма падала на дворцовые парки и нельзя было видеть башен дворца. Одна из башен упала в тьме битвы, и мне было так жаль ее, что я плакал и слезы бежали по лицу. Но грязь и кровь останавливали их на моих щеках. Кровь заливала

мои глаза, но я видел черные лица врагов, так как глаза моей ненависти и в темноте ночи различали их лица. Они были мрачнее мрака, и это выдавало их. Мы кололи и истребляли их без счета. Они, мыча, падали на колени и лицом в землю. Мы их били, пока не устала рука, и ночь рождала их все больше и больше. Мы сражались, пока не загорелся город, как будто зажгли тысячу факелов, так что я видел теперь не только свою кровь, но и кровь врагов, осквернителей моей родины. Я убил в этот день девять варваров, и они лежали с открытыми ртами, как будто удивлялись такой смерти. И хотя лицо мое было снова залито кровью и тьмой, но сердце у меня было как колодец розовой воды. Последний убитый мной был офицер. Я увидел, что это человек в одежде СС, и обрадовался, что одним большим палачом стало меньше на свете...

Тут отрывок кончился.

— Какое странное совпадение,— сказал я.— В стихе говорится об убитом в одежде СС... К какому веку относится стих?

— К первой половине двадцатого века. К осени тысяча девятьсот сорок первого года. Я описал битву под Гатчиной, где я был ранен. Гатчина горела на моих глазах.

— Вы так любили этот город? — спросил я.— Нельзя написать такое стихотворение только как воспоминание.

— Я родился в этом городе,— ответил он.— Вы скажете, что были города прекрасней? Но я отвечу вам словами Низами. Он говорил, что подвиг поэта — любовь. Этой любви он посвящает свой величайший труд, поэму, прекрасную, как жизнь Лейли и Меджнуна. Стихи этой поэмы, писал он, пройдут по всем странам, где есть люди, верящие в любовь. Так они пришли и в нашу страну. Какова была Лейли? Была ли она воистину так прекрасна? Великий Саади замечательно ответил на это. Он написал: слышал царь о безумной любви Меджнуна к девушке Лейли. Захотелось царю посмотреть на красоту Лейли. Взглянул на нее царь. Ничтожной показалась она ему, последняя из рабынь гарема превосходила ее красотой. Понял это Меджнун и молвил: «О царь, надо глядеть на красу Лейли глазами Меджнуна». Я дрался за свою любовь, за свой родной город, я еще отомщу за него.

Он посмотрел в окно. За окном плыли низкие, тяжелые тучи, маячила громада Исаакия, чернели мачты и трубы.

Я понял в это мгновенье, в этой сумрачной комнатке, что мы все во власти великой любви, для которой нам не жаль и самой жизни. Это напомнил нам сегодня наш далекий гость — старый Низами. Он пришел в наш город в гуле сражения, и мы встретили его как друга, союзника и соратника в нашей битве.

И мы выпили за его здоровье, как пьют за умерших на Востоке. Мы выпили за него те сто граммов водки, что были добыты Королевым неизвестно откуда. Мы выпили за Низами и за бессмертные глаза Меджнуна.

ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Снаружи стены цехов темнели, как обледенелые скалы арктического залива. Казалось, жизнь замерла на всем пространстве, заваленном мерзлыми кусками металла, бочками, грудами шлака. Как застывшие волны, всюду подымались сугробы. Мрак январской ночи не освещался ни единым огоньком.

Если бы привести свежего человека и поставить его в безмолвии этого двора, среди мрака и снега, то он сказал бы, что находится в ледяной пустыне, за много километров от человеческого жилья. И однако, это был двор завода-гиганта.

И если отыскать маленькую дверь и открыть её, то вошедший увидел бы подобие сталактитовой пещеры. Это был цех. В пробитые снарядами дыры чернело небо, атласная наледь покрывала своды и стены, слабый электрический свет, тщательно прикрытый, освещал небольшие пространства; и если вглядеться, то было видно, что в разных уголках огромного копошились люди. Они работали.

Они были закутаны в самые разные одеяния, которые при слабом свете отбрасывали дикие тени. Изможденные лица резкостью черт напугали бы непривычного человека, но Потехин знал здесь каждого, и то, что эта фантастическая картина называется ночной сменой, было ему привычно.

Мороз пронизывал его даже сквозь полушубок. От ледяного металла шло слабое сияние, как от раскаленной стали, покрытой

пленкой. Кругом возвышались бугорки бурой, серой, черной, светлой окраски. Это была земля опок, формовочная земля — священная земля опок, как возвышенно любил говорить Потехин, с шутливым пафосом доброго мирного времени.

Приготовление этой формовочной земли сейчас было подвигом. В полумраке смешивалась она в определенных пропорциях, и от правильности соединения этих разнообразных частей зависело литье. От этого литья зависело приготовление снарядов, от этих снарядов зависела оборона города, который только угадывался в черной безмерности этой зимней ночи.

Днем до завода долетали далекие протяжные крики. Это шли в контратаку там, на передовой.

Снаряды были нужны днем и ночью. Снаряды надо было делать, даже если бы сам полюс пришел и поселился на заводском дворе со всеми своими буранами и холодами.

И так же непрерывно приготовляли землю опок. Между бурыми холмами, когда к ним подошли Потехин, мастер и конструктор, сидела женщина, низко наклонив голову, и совком перекидывала комья из одной кучи в другую. Потехин стоял над ней и следил, как с медленным упорством она наращивает новый холмик.

Она подняла на него глаза и, ничего не сказав, посмотрела в сторону, где на доске, полусогнувшись, притулился человек, руки которого были сложены на груди. Потехину показалось, что он крепко спит. И сейчас же он увидел, как задрожал совок в руке женщины, и нагнулся к ней.

— Тетя Паша,— сказал он,— устал Тимофеевич, умаялся.

Женщина поглядела на него сначала строго, потом лицо ее, покрытое металлической холодной пылью, смягчилось, она ответила не сразу:

— Умаялся Тимофеевич, не трогай его, дай покой...

— Так ему лучше бы домой пойти, тетя Паша. Или не в силах? Как бы он не замерз тут, не охолодал, тут — как на улице...

Тетя Паша быстрым движением притянула его за руку так резко, что Потехин принужден был сесть на корточки рядом с ней. Тогда, вплотную придвинув к нему свое лицо, она начала говорить, шевеля почти каменными от холода губами:

— Русский ты человек, скажи мне?

— Русский, конечно,— сказал Потехин.— Что с тобой, тетя Паша?

— Ну, раз русский, хорошо — ты поймешь, тебе рассказывать много не надо. Ослаб мой-то, совсем ослаб, а все ходит, а все работает. «Душа горит,— говорит он мне,— душа горит, Паша. Давай, давай быстрее!» А как быстрее — руки не идут. И самое от голода крутит. Говорит: «Совсем плохо мне». Я ему: «Не говори, старик, такого, отлежишься»,— «Не отлежусь, отвечает.— Слушай меня: землю-то какую ответственную делаем! А ты-то не знаешь, сколько ее надо, как смешать — плохо умеешь. Учись-ка, повторяй за мной и смотри. И смотри...»

заплакала. И Потехин сидел на корточках и глядел, как тетя Паша вытирала слезы и они застывали на металлическом ее лице светлыми полосками.

— Повторяла я свой урок, он все твердил свое и все повторял. И сказал: «Хорошо, вот так и запомни». Прилег — и все. И все, голубчик ты мой,— сказала она по-бабьи и всхлипнула, не выпуская из руки совок.— Тружусь, как велел...

Потехин обернулся в сторону лежавшего. Тетя Паша тронула его рукав.

— «У меня душа горит»,— говорил. И у меня, сынок, душа горит! Сказала ему: «Спи, Тимофеевич, отработал, уж я за тебя, за двоих сегодня земли нарою». Ишь сколько, смотри, и все мало. Мало мне, и мороз меня не берет.

Потехин встал и подошел к мертвому. Тимофеевич лежал, положив голову с заиндевевшей бородой на грудь, и руки его были аккуратно связаны крест-накрест веревочкой.

— Нечего мне сказать тебе, тетя Паша,— сказал Потехин.— Сама знаешь, какие тут слова...

— Какие тут слова,— повторила она, все ускоряя движения совка.— Иди, голубчик, работай, я тут с ним посижу, свой урок исполню. Не спутаю. Иди, иди, дай мне одной быть...

«Как она сказала,— думал Потехин, идя по цеху в его широкой, темной холодине,— «ответственная земля». Да, хорошо старуха сказала: «ответственная земля»! Ленинградская, родная, непобедимая!»

ДЕТИ ГОР

Мы устроились на отдых в зеленой роще верхнего Гуниба. Ниже нас лежали развалины знаменитого аула. Над нами стояла тишина вечерних гор. Каждый из нас развел небольшой костер, чтобы по своему вкусу сделать шашлык. Скоро костры догорели, и над долинкой потянуло сизым сладковатым дымком. Уголья покрылись голубой пленкой жара. Мясо зашипело на длинных тонких самодельных шампурах. Обжигаясь и весело разговаривая, горцы приступили к еде.

У моего костра, чуть насмешливо посматривая на меня большими черными глазами, сидела маленькая девочка. Хотя ее звали Резеда, но она была настоящая горянка, похожая на чистый и строгий цветок альпийских лугов своей родины. Приятно было смотреть, как ловко прыгает она через пенистые ручьи, по камням старых тропинок, и вся природа сурового Гуниба служит прекрасным фоном ее цветущей молодости. Ей было всего десять лет, но в ней жила самая настоящая серьезность, предвестник самостоятельного и цельного характера. Она знала, как сильно я люблю горы, и слегка по-детски подсмеивалась над этим. Для нее, несмотря на всю нашу дружбу, я был заезжим человеком, который завтра оставит дагестанские долины и ущелья и вернется на далекий север, в неизвестный ей туманный и холодный Ленинград.

В конце концов так и случилось.

Прошло восемь лет, в течение которых я очень редко слышал о ней и наконец потерял ее из виду.

Была ленинградская осадная зима. На улицах лежали высокие сугробы, в разбитые воздушной волной окна порывы студеного ветра наметали снег, в комнате чадила коптилка, когда дверь открылась и вошла высокая смуглая девушка, тонкая и легкая, вошла Резеда.

— У вас совсем как в горах, как в сакле,— сказала она,— за окном снег, здесь коптилка, и бурка, и холод.— Она засмеялась.— Впрочем, сейчас всюду холодно...

— Резеда, что вы делаете в Ленинграде, как вы сюда попали? — спросил я после первых общих слов.

— Я училась, а теперь работаю в госпитале. Делаю, что могу. Вся наша семья воюет. Все мужчины, кто где, дерутся на разных фронтах. А я вот в осажденном Ленинграде. Живем мы с мамой в почти пустом доме, все из него эвакуировались, у нас просторно зато...

— Но вам же очень трудно в такую зиму, южанке?

— Сейчас не может быть слова «трудно». Сейчас все должны работать и всё терпеть: так надо. А к вам я пришла еще вот почему. У нас не запирается подъезд, можно через него пройти на двор, а у двора в заборе вынуты доски... А по ту сторону гараж и бак с бензином. Вы знаете, что всякое может случиться. Недавно мы сами видели, как во время налета пускались ракеты. Я думаю, что надо принять меры.

— Надо принять меры,— сказал я,— узнаю серьезную горянку. Но почему вы живете в военном доме?

— Мой муж на фронте, он военный врач...

— Как! Вы замужем? И давно?

— Нет,— сказала она, чуть смущаясь,— недавно. Мой муж не только врач, он парашютист. Он и прыгает с парашютистами, и лечит их. Это очень удобно, правда? В бою он может их всюду сопровождать и прыгать, как они. У него есть значок. Он сам прыгал семьдесят раз.

— Он храбрый человек, ваш муж! Он горец?

— Да, из наших мест, горец, и он храбрый. У нас нет в семье нехрабрых. Где он сейчас, я не знаю. Но он-то без дела не останется.

Мы долго говорили об общих знакомых, вспоминали друзей, горы, и она ушла в ледяные улицы Ленинграда той же крылатой горской походкой, какой ходила по высям Гуниба.

Потом мы изредка виделись, и я постепенно узнал всю ее строгую жизнь в городе, где не было ни света, ни воды, ни дров и где паек можно было назвать геройским, но от этого он не становился больше.

Она работала день и ночь. Ночные дежурства, черная работа изматывали ее, но она ни за что не хотела покидать Ленинграда. Жестокие полярные причуды климата ломали даже привычных к лишениям людей, но она говорила: «Я сильная, на фронте тоже тяжело».

Она шутила и всегда сохраняла присутствие духа, но было ясно, что ей очень трудно. Она похудела. Ее лицо стало суровым, и только глаза, большие и черные, сияли по-прежнему. Раз она сказала:

— Знаете что, мы с мамой сохранили банку мясных консервов и немного рису. Приходите к нам, и мы вспомним Гуниб и ваш шашлык, который я никогда не забуду, потому что он был ни на что не похож. Мы будем праздновать день Красной Армии.

Она рассказывала о письмах, что изредка попадали в город. В них писали, что в Буйнакске некуда было девать фрукты и овощи. Был небывалый урожай. В Дагестане, куда ее звали вернуться, люди садились на лучших коней, брали лучшее оружие, и их провожали на войну, как на свадьбу. От мужа известий не было давно. Он воевал с первого дня, он был прирожденный воин. Он не знал отдыха. Ему некогда писать.

День Красной Армии я встретил в другом городе, где был в командировке. Когда я вернулся в Ленинград, над чистыми, прибранными улицами зеленели деревья. По Неве плыли последние льдинки. С Ладоги шел прохладный весенний ветер.

На фронте была зловещая тишина, прерываемая бешеными припадками артиллерийской стрельбы с обеих сторон. Я сидел с товарищем на пригретой майским солнцем поляне. Озеро серебрилось под нами внизу. От берез и сосен шел медвяный запах. Над кустами кружились бабочки. Принесли свежие газеты. Наступило молчание, так как все погрузились в чтение.

Вдруг товарищ сказал:

— Вот это доктор! И доктор и парашютист сразу. И горец к тому же. Спрыгнул на парашюте и пошел в бой вместе с парашютистами...

— Как? — вскричал я.— Так это муж Резеды!

— Подожди,— сказал товарищ,— очень интересно. Он был

ранен, когда оборудовал перевязочный пункт, пришел в себя и с тяжелым ранением стал делать операции. Он молодец...

— Не тяни,— сказал я,— что дальше?

— Ну, я же читаю,— продолжал товарищ,— да он же герой! Послушай: истекая кровью, он оперирует одного за другим шесть человек, и приносят его друга, которому он обещал сам оказать помощь в случае беды. И он собирает последние силы и говорит: «Моя рука не дрогнет, я обещал это тебе, дорогой!» И он блестяще сделал операцию...— Тут товарищ остановился, охнул и передал газету мне: — Читай сам...

И я прочел: «Страшная разрядка потрясла его перенапряженный организм. Он выронил инструмент, покачнулся и упал бездыханным. Герой врач, пожертвовав собой, спас в этот день семь жизней...»

Я не читал дальше. Я отложил газету. Бедная Резеда! Весь этот день я возвращался мыслью к ней. Я решил, что, вернувшись в город, сейчас же отыщу ее.

Огромный пустой дом встретил меня полной бесстрастной тишиной оставленного людьми жилища. Разбитые окна смотрели тупо на пустую площадь, по которой ветер гонял маленькие столбики пыли. В доме никого не было. Какой-то сторож объяснил, что последние жильцы, две женщины, уехали уже давно. Парадный ход был заперт. Автомобили выезжали из гаража, о котором так беспокоилась Резеда. Но ее не было. Делать было нечего.

Я шел по улице в задумчивости, и даже проносившиеся с унылым шипением снаряды — начался обстрел района — не отвлекали меня от воспоминаний. Дома я нашел груду старых писем, сразу доставленных после весенней разборки. В этой груде белых, серых и желтых конвертов было маленькое письмо от Резеды.

Она описывала свой путь до маленького городка, где их с матерью оставили отдохнуть на пути в родной Дагестан. Она писала: «Мы горды сознанием, что наша страна является единственной страной в мире, где так заботятся о человеке».

Я был рад за нее — она вернется к родным горам, и я удивился только тому, что она не пишет о муже. Она не знает еще о том, что случилось, или врожденная сдержанность заставила ее сурово обойти это горе, похоронить его в глубине сердца? Но почему она, такая сильная духом и уверенная в себе, оставила Ленинград и все-таки уехала?

Я снова перечитал газету, где эпически была описана доблестная смерть горца-врача Абусаида Исаева, и вдруг нашел строки, по которым я как-то проскользнул и которые теперь ожили неожиданно.

Когда он был ранен и лежал в избе, где толпились санитары и раненые, он говорил о своей жене, жившей в Ленинграде и не захотевшей из него уехать, и о сыне, которого он ждал.

Суровая и нежная Резеда! Этого она мне не сказала. Она уехала в родные горы, чтобы там родить и воспитать маленького горца, который вырастет и станет храбрым защитником своей родины по примеру своего доблестного отца, защищавшего Москву, и храброй матери, сражавшейся за Ленинград со смертельным врагом свободолюбивых народов нашей родины.

Да будут благословенны родные горы Дагестана, их снежные выси и синие долины, повитые туманами, и прекрасные, сильные сердцем и духом их сыновья и дочери!

«Я ВСЕ ЖИВУ»

Это был редкий случай, что его отпустили с завода. Надо было выступить на одном небольшом собрании и рассказать о своей работе.

— Я не умею говорить,— сказал он серьезно.

— Иди, иди,— отвечали ему.— Ты у нас передовой, ты коротенько расскажи, как ты, работая по третьему разряду, выполняешь работу пятого, как слесарем стал, ну и еще что-нибудь.

Собрание было коротким.

— Время военное,— говорил он солидно, как бывалый производственник, и даже вызвал улыбки у присутствующих, когда сказал басом: — Из старых рабочих на моем участке осталось только двое — я да Степанова. Все на фронт ушли, или заболели, или померли, или эвакуированы. Степанова старше меня. Ей примерно девятнадцать — двадцать, а мне примерно пятнадцать — шестнадцать.

Собрание ему понравилось, потому что на нем выступали очень интересные люди и каждый мог рассказать много любопытного о своей профессии, о днях осады, о зиме, о пережитых опасностях.

Он шел, слегка задумавшись, медленно по набережной небольшой реки; деревья уже были в зеленом уборе, набережная была чистая, как вымытая, город ничем не напоминал мрачные

зимние дни. Он сел на скамейку и с удовольствием смотрел по сторонам.

Целую зиму ему некогда было думать о себе, а теперь собрание и слышанное на нем вызвали в нем целый поток воспоминаний. Он видел себя в родной деревне, видел сестру, шедшую с ведрами по двору. Видел братьев: одного маленького, верхом на колхозной лошади, другого в гимнастерке и в сапогах со шпорами,— он пришел тогда из армии. Теперь брат дерется с немцами. Из дому писем не пишут. Верно, тоже работают на оборону, как он — день и ночь. Вспомнились первые месяцы в Ленинграде в ремесленном, потом слесарный цех, как он его увидел в первый раз — с брызжущими металлическими стружками, с ворчанием и стуком станков, с прохладой большого зала.

Все ему нравилось, все шло гладко, руки как будто понимали без его указаний, как и что надо делать. Он обожал работу. Он даже с каким-то изумлением смотрел, как выходят из-под его рук детали, сделанные им. И то, что это было сделано именно им, наполняло его гордостью. Он ни за что не покинул бы завода, не уехал бы ни в деревню домой, как сделали его товарищи, ни переменил бы город. Город был такой огромный, что каждый раз можно было увидеть новое, сколько бы в нем ни ходить. Он видел его, как в страшной картине кино, когда началась война и по ночам горели дома, падали бомбы, прожекторы освещали небо, непрерывно гремели зенитки. Он помогал вытаскивать из-под развалин людей, засыпанных обломками.

Это была трудная и опасная работа. С ним работал и тот мастер, добрый Парфений Иванович, который прозвал его, Тимофея Скобелева, странным именем: «Я все живу».

Случилось это так. Парфений Иванович пришел в общежитие и говорил с ребятами об их жизни. На Тимофея находили припадки застенчивости, и он путал слова. Волнуясь, он на вопрос: «Ну, как живешь?» — ответил не как хотел: «Я хорошо живу»,— а чего-то заробел, спутался и сказал: «Я все живу!»

Все засмеялись. Потом они подружились с Парфением Ивановичем, и тот шутливо спрашивал, приходя его навестить: «А как этот «Я все живу» — жив еще?» — «Жив»,— отвечали ему и тащили к нему Тимофея.

Он сидел на зеленой скамейке, напротив пышного весеннего сада, и вспоминал. Зимой кончился ток, завод стал. Он таскал

воду в бочках между сугробами, ел хрен в столовой, спал под полушубком, разбирал старые деревянные дома на дрова. Потом снова завод заработал, стал, как он говорил, делать «секреты» для фронта. Как он выжил, он сам не знал. Было и холодно и голодно, но он терпел все отлично и, когда пахнуло первым весенним теплом, ожил совсем.

— Ну как? — спрашивал его в ту зиму, встречая с топором в руках, Парфений Иванович, закутанный до глаз шарфом.— Все живешь, брат?

— Все живу,— отвечал он простуженным голосом,— а что мне делается!

— Терпи, казак, атаманом будешь! — говорил Парфений Иванович.

Атаманом — не атаманом, а он стал самым умелым рабочим слесарного цеха, и у него уже были подручные.

Все это вспомнилось Тимофею как-то сразу, пока он сидел на зеленой скамейке. Он устал от мыслей, от их множества и пестроты. Он перестал думать и стал смотреть на деревья, на речку, на прохожих. Жизнь была странной. Он посмотрел на себя. Чисто одетый, опрятный, аккуратно работающий, не считаясь со временем, иногда по два дня не оставляющий цеха, он чувствовал себя счастливым, но ведь в нескольких километрах от города сидели немцы, в воздухе гудели сторожевые самолеты или вдруг с непонятной быстротой начинали сыпаться снаряды.

Мимо него проходили по-весеннему одетые люди, какой-то мальчик ловил рыбу, но у него ничего не выходило. Он стал смотреть на мальчика.

Мальчик был худой, остроносый, в серой куртке. Тимофей сначала рассеянно следил за этим рыболовом, но потом, когда мальчик встал, взял удочку на плечо и, посвистывая, пошел к зеленой скамейке, Тимофея точно что-то ударило в бок. По мере того как мальчик подходил ближе к нему, он все яснее видел на его щеке коричневое большое пятно, как будто на щеке застыл большой кофейный натек.

Когда он проходил мимо Тимофея, Тимофей сказал:

— Эй, паренек, погоди минуточку.

Мальчик обернулся, оглядел Тимофея с головы до ног и сказал:

— Чего тебе?

— Присядь-ка на минуточку,— сказал Тимофей,— если не торопишься...



— Я не тороплюсь,— ответил мальчик и сел на скамейку.

Тимофей молча разглядывал его. И мальчику это надоело.

— Что я тебе, картина? — сказал он.— Или говори что-нибудь, или я пойду...

— Вот быстрый какой,— сказал Тимофей,— а я вот медленно думаю.

— А ты думай быстрее.

Мальчик засмеялся, и тогда Тимофей спросил:

— Слышь, а где ты зимой жил?

— Где жил? — Мальчик свистнул.— Там сейчас ни одна крыса не живет. Наш дом разбомбили вчистую. Меня самого чуть не пришибло.

— Вот, вот,— сказал радостно Тимофей,— это я и спрашиваю, дом с балконами, четырехэтажный, на углу вон там...

— Правильно. А что, ты тоже там жил? Или кого оттуда знаешь?

— Я там не жил,— сказал Тимофей.— А как тебя зовут?

— Шура Никитин...

— А скажи, Шура, что ты сейчас делаешь-то, учишься или что?

— Мать померла, отец мобилизован, я у тетки живу. Работать хочу, да не знаю, что и куда, мал я...

— А сколько тебе?

— Пятнадцать будет...

— Чего мал, ничего не мал. Хочешь, на работу устрою тебя?

— Ты? — спросил недоверчиво Шура, во все глаза рассматривая Тимофея.

— Ну а кто же! — сказал гордо Тимофей.— Я тебе сейчас записку напишу к одному человеку.

— А ты кто сам-то?

— Я, брат, слесарь, и ты будешь слесарем. Теперь не смотри на лета. Ты из зимы-то вылез ничего?

— Ничего, как тепло стало — бегу, и ноги не ватные...

— То-то, значит, будешь работать. Ты завод у моста знаешь?

— Знаю.

— Вот там я и работаю. Сейчас я напишу тебе записку.

Он вынул записную книжку, которой очень гордился, послюнил карандаш и написал крупными прямыми буквами: «Милый Парфений Иванович. Надо устроить ко мне Шуру Никитина. Я все Вам расскажу почему. А он тоже расскажет».

Он передал записку Шуре, и тот сказал удивленно:

— Как это ты подписался: «Я все живу». Что это такое?

— Это для секрета, у нас с Парфением Ивановичем свой секрет. Не бойся, не подведу. Я тебе расскажу. Только обязательно, смотри. Придешь? Не обманешь?

— А что мне обманывать! Конечно, приду. Меня отец немного слесарному учил. А ты мне скажи, почему меня остановил? Ты меня знаешь, что ли?..

— Немного знаю! — сказал, вдруг смущаясь, Тимофей.— Я тут живу недалеко, много раз видел...

— И ты мне что-то знаком. Ей-богу, знаком,— сказал Шура,— а вот не припомню... У меня, знаешь, после того как засыпало в доме, голова болит часто. А тебя я где-то видел, правда, правда...

— Да, наверно, видел,— сказал уклончиво Тимофей,— близко друг от друга живем, так как не видеть? Так приходи смотри!..

Тимофей рассказал ему, где найти Парфения Ивановича.

— Приду,— сказал Шура, прощаясь, взмахнул удочкой и пошел по набережной.

Тимофей смотрел ему вслед и никак не мог понять, почему он не открылся ему с самого начала. В первую минуту он усомнился, тот ли это мальчик, но имя и пятно на щеке подтвердили, что это тот.

В одну зимнюю ночь, когда особо свирепо падали бомбы с темного, закрытого тяжелыми снежными тучами неба, команду, где работал Тимофей, вызвали к дому, который только что повалился. Бомба попала в самую середину, и теперь в темноте чернел какой-то фантастический остов со многими перепутанными железными балками, и люди с фонарями рылись в грудах мусора, искали засыпанных.

Сначала Тимофей работал наверху завала, но потом его позвали вниз, и комиссар штаба района посмотрел на него внимательно при свете «летучей мыши» и спросил, решится ли он отрыть заваленного в нижнем этаже мальчика. Они подошли к черной дыре, откуда был слышен далекий слабый голос. Взрослому лаз был слишком узок. Тимофей надел каску, взял пилу-ножовку, молоток, зубило, топор и карманный электрический фонарь.

Он полез в дыру. Он твердо знал, что вернется с мальчиком, но для оставшихся это было вопросом. Завал стал оседать.

Комиссар приказал прекратить верхние работы, и люди столпились у дыры внизу. Они ходили перед дырой, снег скрипел под их ногами, они говорили тихими голосами, и только комиссар с фонарем время от времени кричал в дыру.

Три часа шаг за шагом полз Тимофей по узкому проходу, обдираясь о какие-то проволоки, гвозди и острые кирпичи. Он дополз до мальчика, лежа на спине разобрал кирпичи над задавленным, освободил ему руку, дал ему фляжку с водой. Сил больше не было. Он осветил фонариком вокруг, чтобы точно запомнить положение. Запомнив, он полез обратно. Когда он вылез, он был мокрый от пота, как крыса под дождем.

Он отдышался и снова полез отрывать мальчика. Так он работал еще шесть часов. И он отрыл мальчика. Когда его вытащили, Тимофей не мог говорить от усталости. Он только слушал, как гудели люди вокруг спасенного, как кто-то сказал Тимофею, хлопая его по плечу:

— А и силен ты, батюшка! Молодец!

Он слышал, что мальчика называют Шурой Никитиным. Отдохнув, он подошел тогда, когда мальчика брали на носилки, чтобы увезти в больницу, и при свете фонаря он увидел бледное лицо с большим кофейным пятном на щеке. Это он запомнил. Потом надо было работать дальше, спасать других, и он только видел, как санитарный автомобиль завернул за угол.

И сегодня здоровый Шура Никитин прошел мимо него с удочкой. Он не мог не остановить его.

...Прошло несколько дней. Во время перерыва Тимофея вызвали в контору цеха. Едва переступив порог, он увидел Парфения Ивановича с толстой самокруткой в зубах, который вынул ее при виде Тимофея, широко улыбнулся и сказал:

— Все живешь, старина! Принимай пополнение.

— Спасибо, Парфений Иванович,— сказал Тимофей.— Я все живу, верно. Пополнение приму.

И тут же, при людях, наполнявших контору, Шура сказал:

— А что же ты скрыл, что ты Скобелев? Я ведь тебя не узнал. Прости, честное слово! Мы с тобой так изменились с зимы-то. Ты вот узнал меня, а я нет. Как вот ты-то меня на улице узнал?

Но Тимофею было стыдно сказать, что узнал он его по кофейному пятну на щеке. Он застеснялся, что-то пробормотал в ответ и пошел из цеховой конторы. За ним шли Шура и Парфений Иванович.

И когда они вошли в цех и перед ними раскрылся прохладный, светлый зал, наполненный металлическими отсветами и блесками, Тимофей сказал Шуре:

— Что было, то прошло... А вот тут, брат, уж мы поработаем вдвоем! — И он жестом хозяина и мастера положил свою маленькую крепкую руку на холодную сталь станка.

СТАРЫЙ ВОЕННЫЙ

Он был очень стар, и глаза его совсем ослабели. Все стояли у открытых окон, и он подошел, но ничего не видел. Тогда он сказал:

— Скажите мне, что там такое?

— Там, над городом, далеко где-то подымается к небу густой дым. Огромные, как горы, облака белого дыма. И края их розовые от заката. А теперь дым становится синим. Он встает до полнеба...

— Это пожары? — спросил он.— Это немцы?

— Да,— ответили ему.

Зенитки продолжали еще лениво постреливать.

...Он сидел над картами целыми вечерами. Он был старый военный педагог, географ, изобретатель, у него было много карт. Они всегда утешали его разнообразием своих линий, богатством земных очертаний, причудливыми рельефами. Он видел сквозь эти синие узоры и коричневые пятна, сквозь зеленые и желтые полосы жизнь могучей страны, большую, жаркую, свободную, растущую. Он знал, как год от года менялась эта карта.

Но сейчас он смотрел на карты окрестностей Ленинграда, болезненно морщил лоб, взгляд его становился угрюмым и тусклым.

Треск пулеметов был слышен недалеко.

— Нет, этого не может быть,— говорил он.— Нет, это невозможно.

Он взволнованно бросал лупу на карту и ходил по комнате большими шагами.

— И кому отдать? Гитлеровцам! Тупым, беспардонным, кровожадным убийцам детей и женщин, фашистам... Да, да,— брюзжал он себе под нос.— Немецкие генералы, эти самодовольные куклы, они организаторы неплохие, они умеют воевать... Умеют воевать? — кричал он в следующую минуту.— Авантюристы, все их планы — это разбойничий обман, это рассчитано на то, чтобы ослепить, разоружить, обескуражить... Не будет этого! Нас не проведешь... Русский народ не обманешь. Не будет вам Ленинграда!

Он ложился на кровать, но сон бежал от его глаз. Он всем сердцем переживал битву, шедшую вокруг города. Он закрывал глаза и видел все эти мирные окрестности, где некогда участвовал в маневрах молодым командиром. Эти тихие уголки исчезали сейчас в дыму пожаров один за другим, и, может быть,— страшно подумать,— вражеские танки уже прорвались на окраины города. Тогда... он еще в силах бросить гранату, он не спросит, сколько врагов, он плохо видит, это верно, но он спросит: где они? Нет, это невозможно,— немцы не будут идти по священным улицам и площадям. Никогда!

Он не ходил в бомбоубежище по тревоге. Воздух сотрясался над домом, о крышу звякали осколки, окна дребезжали, дом качало, но он только говорил:

— Летайте, летайте, скоро сломаете себе шею...

Битва затянулась. Враг залег у самых стен Ленинграда. Пришла зима. Холодно и темно стало в доме. Слабо треща, в маленькой железной печурке горели сырые щепки. Старику становилось с каждым днем хуже. Он лежал под старым измятым одеялом, и вся жизнь проходила перед ним. Это была долгая, трудовая, интересная жизнь, и если бы не годы и не лишения, он бы еще протянул долго. Но сейчас слабость сковывала его руки и ноги, и даже дрова для маленькой печурки ему кололи: сам он очень уставал от этой, стыдно сказать, детской работы.

Он думал только о городе, о великом, неповторимом, чудесном.

В минуты сентиментальные, когда думалось как-то особенно грустно об уходившей жизни, он вынимал из ящика стола золотые часы и держал их в руке. Эти часы были наградные. Он получил их за работу на высших курсах милиции, где долго преподавал, где много обучил молодых, сноровистых, лихих

милицейских командиров... Он то вспоминал их улыбающиеся лица, их задор, их шумные беседы, то вдруг он видел себя молодым, на коне, в горах, у пенистых потоков, на высотах Кавказа — любознательным картографом, путешественником, историком горных войн... Давно это было...

Он сильно слабел. Даже ложку, когда он ел суп, ему держать уже было трудно. Его кормила дочь, она же рассказывала ему фронтовые новости.

— Отступают, всё отступают,— говорил он с тяжелыми вздохами и мучительно смотрел на дочь почти слепыми глазами.

— Старик протянет недолго,— говорили жильцы в квартире.

...В это знаменитое утро женщины, разводившие примусы в своих комнатах, и дочь старого военного услышали странные звуки. В комнате старика звенела пила, потом застучал топор, потом послышалась песня... Да, там кто-то пел песню. Слов нельзя было разобрать, да и вряд ли у этой песни были слова. Это было какое-то самозабвенное, довольное урчанье.

Все знали, что старик лежит под своим ветхим одеялом, тихий, обескураженный, слабый.

Дочь подошла к двери и не сразу открыла ее. Когда же она открыла, она увидела, что ее древний больной отец пилит какую-то доску и поет. Да, это пел он. Он пел, и глаза его сияли; и хотя на его худых широких плечах было накинуто старое, рваное пальто, он был величествен, как патриарх.

— Что с тобой, отец? — с испугом спросила дочь.— Почему ты встал? Зачем ты пилишь? Тебе же трудно!

Он посмотрел на нее и сказал медленно ясным и громким голосом:

— Ты слышала сегодня радио?..

— Нет,— ответила она.— А что сообщали?

И вдруг старик почти подпрыгнул с пилой в одной руке и с доской в другой.

— Ты не слышала, ты не слышала! Весь мир уже слышал, а ты не слышала. Немцев разбили под Москвой — наголову, в дым, вдрызг... Авантюристы несчастные! Я давно говорил, что они только могут по-разбойничьи воевать. Разве это тактика? Это нахальство, это бандитизм. Дочка, они разбиты, понимаешь... Ленинграда им не видать никогда. Я не мог больше лежать. Я вскочил, когда все это прослушал. Я вскочил, чтобы закричать: «Да здравствует победа!» Ведь это нельзя кричать лежа, понимаешь, дочка!

МГНОВЕНИЕ

Бывают мгновения, когда природа, окружающая вас, вдруг является во всем торжестве животворящей силы, во всем блеске, во всем неисчерпаемом богатстве, во всей своей неповторимости, в одном из тех неисчислимых своих раскрытий, которое в это мгновение кажется единственным и угаданным только вами.

Для того чтобы вы это испытали, не нужно торжественной пальмовой рощи на берегу океана, не нужно каких-нибудь фантастических скал, окутанных тучами. Достаточно, если это частица характерного пейзажа наших родных мест. Пусть вас окружает роща скромных берез или широкое поле, над которым низко спустилось осенне-туманное небо, пусть это случится в городе, в парке, где сквозь листву до вас будут доноситься звонки трамвая и гудки машин,— все равно вы можете быть свидетелем этого глубокого мгновения.

И в природе вещей, в сосредоточении мастера, ищущего последней глубины творческого откровения, оттенки красок и слов вдруг обернутся тем настоящим, неповторимым мгновением, которое мы называем старым словом — вдохновение.

Вот такое мгновение, полное ощущения расцвета жизни, такое редкое в жизни молодого существа, еще только отгадывающего, что же самое главное в предстоящем длинном пути, иногда является в высшем торжестве и в высшей неумолимости. Может быть, это мы и называем подвигом.

В связи с этим я хочу рассказать об одной скромной маленькой девушке, Жене Стасюк.

Она была ученицей девятого класса, по состоянию здоровья оставленной на второй год в классе. Это одно обстоятельство говорит, что она была не богатырского закала. И действительно, среди типичных городских девочек она, может быть, была самой незаметной. Небольшого роста, хрупкая, как характеризовали ее близкие и знакомые, с тонкими и правильными чертами лица, с кожей нежного матового цвета, с большими голубыми глазами, с длинными, тонкими ресницами.

Она старалась не выделяться, потому что остро чувствовала свой физический недостаток: она хромала. Эта хромота больше чем смущала ее — она ее мучила и постоянно напоминала о себе. Поэтому в иных развлечениях, свойственных ее возрасту, ей было отказано. Она не могла бегать, не могла танцевать. Хромоножка — слово не из тех, которые нравятся уху молоденькой девушки.

Но она хорошо умела возиться с бинтами и перевязками, когда училась, чтобы стать сандружинницей. Жила она под Ленинградом в небольшом городке, где протекала неширокая река, где стояли небольшие дома, и только огромный завод, старый, как крепость, был настоящим источником шумной и новой жизни. Он постоянно увеличивал свои корпуса, он рос и в ширину и в высоту, и неумолчный его гул наполнял далеко все окрестности.

В таком городке, наполненном размеренной рабочей жизнью, мечтается не хуже, чем в самом большом городе. Весенние вечера в нем наполнены голосами молодежи, смехом и песнями. Как бы пошла дальше жизнь маленькой школьницы, никто не мог бы сказать, если бы события, грозные и страшные, не обрушились на городок с внезапностью самой свирепой бури.

В первый же день, когда гитлеровские полчища нарушили нашу границу, Женя в числе прочих дружинниц перешла на казарменное положение.

Как тяжелый сон, проходили дни. Не умолкала канонада. Далекими казались тетради, школа, прогулки, вечеринки. Исчезли огни — городок по вечерам проваливался в темноту уже осенних ночей, дождливых, мрачных, беспросветных.

И вот она руками, с которых еще недавно не сходили чернильные пятна, перевязывала раненых и, вся залитая кровью, слушала их стоны и бормотания, отрезала бинты, давала пить,

утешала, даже покрикивала на особо ослабевших духом и чувствовала себя песчинкой, увлеченной ураганом, который кружил над городком.

До сих пор никогда она не ночевала в поле, в яме, никогда не лежала на мокрой глине, часами прижимая свою сумку к шершавой шинели и грея руки, засунув их в рукава. Теперь она жила только тем, что ее окружало. Весь остальной мир перестал существовать. В том мире было светло, тепло и радостно. В том же, что пришло, она видела только страдания и суровость, на которую, она боялась, у нее не хватит сил. Но уйти, попроситься куда-нибудь подальше от этого она не могла.

Хромая среди узких, спешно вырытых окопов, спотыкаясь, ползая по размытому лугу, промокшая, дрожащая от холода, она вздрагивала от тайной гордости, когда раненый говорил ей сведенными болью губами, чуть слышно: «Спасибо, родная!» или: «Эх и маленькая же ты!» Иные, постарше, называли ее сестрицей.

Она не разбиралась в действиях этих солдат и командиров, что двигались день и ночь вокруг нее, обвешанные оружием, сумками, гранатами. Она пугалась всякий раз близкого разрыва снаряда, от которого гудело в ушах и ноги делались мягкими, восковыми.

Она заснула усталая, как сидела, на корточках, прижавшись щекой к стене ямы, на дне которой лежали ее сумка, противогаз и котелок, в котором ей принесли немного вареной картошки. Она спала в перерыве между перевязками, и ей снился школьный праздник, на котором собрались все ее товарищи. Было так много цветов, и кто-то стал пускать ракеты, и в небе повисли красные и зеленые змейки, а потом взошла большая оранжевая луна, и все пошли на станцию. Станция была убрана, как никогда, флагами и цветами, поезд привез много народу, все шутили и смеялись. Потом она полетела куда-то, и ей самой стало во сне смешно, она во сне вспомнила нянькину фразу: «Это ты растешь еще!» Но поезд, который был украшен цветами, вдруг рассыпался на много черных машин, которые стали, грохоча, вертеться вокруг, стараясь наехать на нее, а она бегала между ними и не могла уже понять: это шутка или всерьез ее хотят раздавить эти черные рычащие машины? Грохот их стал таким сильным, что она проснулась.

Минуту она не могла сообразить, где находится. Было уже темно, все вокруг гремело, и разрывы снарядов смешивались

с пулеметным отрывистым рокотаньем. Рука ее, прижатая к стенке, пока она спала, онемела, и ее покалывали иголки. Она показалась самой себе такой беспомощной, такой одинокой и брошенной на дно холодной глинистой ямы. Ночь дышала холодом и угрозой. Она чувствовала, как кругом затаились люди, и среди многоголосья и самых разных звуков она поняла только, что начался сильный бой, и в это время ее окликнули:

— Женя, перевязывай!

И к ней в яму сполз, поддерживаемый подругой, раненый. Он сполз молча и упал к ее ногам, как темный мешок. Но, присмотревшись, увидела она, что он сжимает в руке автомат и глаза его почти светятся в темноте. Она уже знала этот блеск боли, сдерживаемый крепко сжатыми зубами. Она вздрогнула, пришла в себя окончательно и сильным движением, которым овладела в последнее время, прислонила раненого к стенке и начала перевязку. Он был ранен в плечо, и она, полуобняв его, уже не боясь прикосновения к тому липкому и мокрому, чем была пропитана его шинель, натягивала бинты. Автомат она положила бережно возле себя, чтобы он не мешал и в то же время был под руками, чтобы его не искать в этой тьме потом, когда она будет эвакуировать раненого.

Когда она кончила перевязывать, раненый шумно вздохнул и ничего не сказал. Только правая рука шевелилась все время, точно он хотел убедиться, что она действует, и он боялся, что рука каждую минуту станет такой же, как левая, к которой страшно притронуться.

Чтобы что-нибудь сказать, она обратилась к раненому, наклонившись к самому его лицу, замазанному грязью и мокрому от пота:

— Ну, как дела там? У нас?

— Плохо! — сказал вдруг ясным голосом раненый.— Плохо,— повторил он и замолчал.

— Ну, что ты! — тревожно сказала она.

Ей стало как-то не по себе от этого ясного голоса. Она знала, что раненым под впечатлением только что пережитого всегда представляется, что дела плохи. Стрельба усилилась до чрезвычайности. Теперь казалось, что на эту темную, грязную ночную землю льется огненный ливень.

Но при свете ракет и зарева она видела, как оттуда, где свирепствовала стрельба, шагают темные фигуры, которые пробираются мимо нее, ныряют в соседние ямы и куда-то исчезают.

У нее сжалось сердце. Она приподнялась над краем ямы и потом почти вылезла из нее, всматриваясь в темноту. Прямо на нее шли люди. Они шли пригибаясь, втянув голову в плечи, и первый, который достиг ее ямы, остановился, всматриваясь, нельзя ли перепрыгнуть.

— Что там такое? — спросила она.— Куда вы, товарищ?

Солдат, стоявший над ней и казавшийся еще выше ростом от этого, хрипло сказал:

— А кто это здесь?

— Я дружинница. Осторожнее, тут яма,— ответила Женя.— Что там такое?

— Там,— ответил солдат, и винтовка как-то странно качалась в его руке,— пропащее там дело, девушка; немец стреляет, никого в живых, поди, уже нет...

— А командиры где ваши? — спросила она, схватив его за шинель.

— Командиров побило,— глухо ответил солдат и, наклонившись, сжал ее маленькую горячую руку.— Не держи, эй ты, отпусти меня, беги отсюда, пропадешь!..

И он одним прыжком исчез в темноте, спрыгнув в соседнюю траншею.

«Что же это такое? — спросила она себя.— Они бегут. Бегут. И за ними идут немцы. И вот сюда придут немцы, перепрыгнут, как этот солдат, в ближайшую траншею и потом дальше и дальше, к городу — и все кончено...»

Приближалась целая группа. Смотря на эти трепещущие в свете ракет фигуры, она задрожала всем телом от негодования и боли. Что делать? Она окинула взглядом все ночное пространство, такое дикое и мрачное, такое огромное, что она перед ним просто ничто, травинка, которую сожжет первый разорвавшийся снаряд самым маленьким своим осколком.

И вдруг она почувствовала, что она сильнее этой ночи, дышащей на нее смертью, и этого темного пространства, угнетавшего ее страхами, и этих больших бегущих людей, опустивших винтовки, и того злобного невидимого врага, что освещает этот мрак ракетами и стреляет так шумно, страшно и непрерывно.

Что-то сжало ее сердце, но это не было ни страхом, ни болью. Это было ощущением того полета, как во сне, когда она сама засмеялась: «Я еще расту!» Ноги стали крепкими, а маленькие руки сжались в кулаки. Она вся трепетала от какого-то

удивительного: все равно! Ей было все равно теперь, что стреляют, что осколки свистят над головой, все равно, что она маленькая и слабая, все равно, что она не умеет командовать. Это и было то мгновение, когда предельный восторг захватил ее с головы до ног. Что знала она о жизни, эта маленькая бывшая школьница? И вдруг она стала мудрой, неумолимой, беспощадной и страшно гордой. И безжалостной. Она схватила автомат и встала во весь рост перед теми, кто уже почти приблизился к ней, отступал.

— Стой! — закричала она таким тонким и таким сильным голосом, что люди остановились.

Она выпустила в темноту вдоль траншеи короткую очередь.

— Стой! — кричала она и уже бежала навстречу тем, кто остановился, не понимая, чего хочет от них эта маленькая девочка, хромавшая по взрытому полю.

Они подошли вплотную. Она не могла рассмотреть лиц, но чувствовала, что на нее смотрит много глаз. За этими, стоявшими перед ней, она видела других, появлявшихся из мрака.

— Стой! — сказала она еще раз.— Бежите? А ну, назад! За мной! Посмотрю я, какие из вас герои! А ну, вперед! Повертывайся!

И она стояла с автоматом, не помня, что говорит и что делает. Она только доверяла тому большому, от чего содрогалось все ее существо. И они, эти тяжело дышавшие солдаты, покорно, как ей показалось, повернулись. Она шла с ними назад, туда, откуда свистели пули и летели снаряды.

Они достигли следующей группы. Она схватила за плечо маленького солдата со смешной юношеской бородкой.

— Откуда ты? Где вы были?

— Там,— сказал он, показывая рукой направо.

— Иди обратно! И они с тобой? Все идите обратно. Живо вперед!

Они не прекословили. Они как-то не в лад повернулись, и теперь она вела их, сжимая автомат и почти улыбаясь. Она сама не знала, что она улыбается, и никто этого не видел в темноте.

Она возвращала все новые и новые группы. Она доводила их до брошенных ими окопов, спрашивала:

— Здесь сидели? Здесь сидеть — назад ни шагу!

Она не прибавляла: «Шагнешь — убью»,— но она знала твердо, что будет стрелять, что ее ничто не остановит, что эти смятенные, тяжелые, мрачные люди не смеют ей сопротивляться, ее силе, ее воле, маленькой тщедушной школьнице, которой трудно дышать от мокрой шинели, воротник которой трет ей шею, от быстрой ходьбы, от страшного возбуждения.

Может быть, вокруг было то, что в газетных корреспонденциях называют «адом». Да, так это и было. Один раз солдат, шедший с ней рядом, сильным толчком бросил ее на землю, и над их головой грохнуло так, что, казалось, голова расколется от этого удара, но в следующее мгновение она была уже на ногах, и тот, толкнувший ее, сказал смущенно:

— Прости, крепко ударил, а то бы не уцелели. Не ушиблась?

Но она не ответила и пошла, пригнувшись, дальше. Она обходила траншеи, перевязывала раненых, следила, чтоб никто больше не смел отползать назад, она спрашивала, сколько у них патронов, стреляла в темноту, откуда продолжали сыпаться снаряды и ракеты, лежала в воронках, прижимаясь к земле, переползала по холодной траве, царапая руки о какие-то жестянки и камни. Ночь была бесконечной.

Снаряды не переставали рваться. Мины лопались с квакающим хрипом, трассирующие пули разноцветными струями проносились перед ней.

Она спросила одного паренька, сильно сопевшего в полумраке окопа:

— Ты знаешь, где штаб батальона?

— Ни черта он не знает! — ответил за него другой голос.— А что, товарищ начальник?

Ее поразил этот ответ. Ее называют товарищем начальником. Наверное, эти люди будут днем сильно смеяться, когда увидят ее при ясном солнечном свете.

Но она ответила сразу:

— А вы знаете, где штаб?

— Знаю, только туда сейчас трудновато пройти будет...

— Вы пойдете туда и отнесете мою записку, слышите?

— Слышу, товарищ начальник,— сказал солдат.— Давайте пишите.

Она вынула свой блокнот и написала кратко, что просит прислать командира; вместо связного будет присланный с запиской.

Солдат перевалился за бугор и растаял в темноте. Ночь продолжалась. Подул холодный, пронизывающий ветер. Глаза слипались. Руки и ноги стала сводить усталость. Опьяняющий восторг первых минут давно прошел. Хотелось упасть и заснуть. Но она сидела, поставив автомат между колен, и смотрела перед

собой, оглушенная грохотом, и равнодушно слушала, как визжат пули, рикошетировавшие поблизости.

Потом она собрала всю волю и, зевнув в кулак, поползла проверять свои окопы. Бойцы лежали и сидели, согнувшись в три погибели, шептались и кашляли, стреляли, изредка вскрикивали раненые.

...Перед ней стоял командир, высокий, в ремнях, с наганом у пояса, с противогазом, широколицый, с прищуренными глазами, как будто сомневающимися в том, что они видят.

— Кто здесь командует? — спросил он, строго глядя на маленькую фигурку с автоматом, прижавшуюся в изгибе окопа. На него смотрели большие глаза, и ему показалось, что эта испуганная девочка сейчас скажет ему: «Я хочу домой, к маме! Я боюсь!»

Но она сказала тихо и медленно:

— Здесь командую я!

И он, приложив руку к козырьку, сказал быстро и четко:

— Я прибыл принять участок по приказанию командира батальона. Это вы прислали записку?

— Я,— ответила она еще тише.— Я вам сейчас все сдам. Идемте!

ДЕВУШКА

Неуклюжая тетка в большом байковом платке набежала на нее в темноте, испуганно вскрикнув:

— Ай, кто это здесь?

— Я! — сказала девушка, сидевшая на ступеньках.— Это я, Поля.

— Чего ж ты не бежишь-то!.. Ведь тревога гудит! Сейчас бомбы тебе на голову пустят.

— Вот я их и жду...— спокойно сказала Поля.

— Чего ж их ждать-то, спасайся в убежище.

— Моя служба такая. Иди, иди, тетка, а то и вправду тебя зашибет...

— И пойду. А она ишь сидит на ступеньках — бесстрашная какая...

— Я не бесстрашная, я — разведчица.

Поля сидела на ступеньках и во все глаза следила за небом, на котором пересекали друг друга прожекторы, лопались ракеты, повисавшие красными пучками, золотые нити трассирующих пуль уходили в синий купол, и над всем стояло прерывистое, враждебное гудение летевших над городом самолетов. И, всем телом сжавшись, ждала она того страшного завывания, гула и огненного плеска, который должен сейчас возникнуть, и Поля первая бросится туда, чтобы просигнализировать в штаб местной обороны, куда ударила бомба.

Втянув голову в худенькие свои плечи, закрыв глаза, слушала она нарастающий вой. Раскалывающий голову удар пронесся по улице. Теплая волна ударила в уши, толкнула в грудь. Поля вскочила, шатаясь, и уже бежала по улице туда, где только что упали стены и еще стояло, не рассеявшись, облако дыма. Свежие развалины вставали в темноте ночи. Зубцы изорванной стены чернели высоко над девушкой, улица была усеяна обломками, битым стеклом, каким-то невообразимым сором. Через минуту она уже звонила из соседнего дома о размерах бедствия. И сейчас же бросилась в тьму развалин, откуда слышались крики, стоны, вопли.

Так было изо дня в день. Никто быстрее ее не обнаруживал очага поражения, никто не умел так самозабвенно работать, так ухаживать за ранеными, так проводить целые ночи среди шатающихся стен, рушащихся балок и людей с перекошенными лицами. Особенно умело она откапывала детей.

Иногда, обтирая пот обратной стороной ладони, она садилась и смотрела на работу спасательных команд как будто со стороны. Развороченные дома, темный город, мелькающие в руках людей маленькие фонарики — все ей казалось невесомым, несуществующим, небывалым.

Ведь были какие ночи — мирные, веселые, с огнями трамваев, с песнями, танцами, молодежью... Да, все это было. Все это будет. А сейчас...

— Что же это я засиделась! — кричала она себе, и вскакивала, и снова помогала таскать, разгребать щебень, работать киркой и лопатой.

Она стала удивительно спокойной, твердой в решениях, крепкой нервами. Ее ничто не могло уже удивить.

Раз, прибежав, она увидела при лунном свете, как высоко над грудой рухнувших этажей, точно в воздухе, стоит женщина в одной рубашке, прижавшись к остатку стены, в углу, случайно уцелевшем на пятом этаже. Женщина стояла, как статуя, как мертвая, упершись руками в куски стены справа и слева. И Поля смотрела не отрываясь на белое пятно ее рубашки. Она думала только о том, как бы поскорее ее оттуда достать и как это сделать.

Другой раз прямо на нее бежала молодая, с растрепанными волосами, женщина, прижимая к груди ребенка. Испуганная взрывом, вне себя от страха за ребенка, она могла бежать так через весь город. Поля схватила ее в объятия, погладила по голове, сказала:

— Вот и все!

— Что все? Что все? — забормотала женщина.

— Все,— сказала Поля,— уже все. Больше страшно не будет. Сядь, отдохни. Сейчас я тебя укрою...

И она отвела сразу успокоившуюся женщину на санитарный пост.

Сколько она перетаскала раненых, ушибленных, искалеченных, эта хрупкая девушка с большими, слегка удивленными глазами, скольких успокоила, ободрила, даже рассмешила своими острыми словечками, сказанными кстати.

— Скоро юбилей будешь праздновать, Поля,— говорили подруги,— у тебя уже к сотне спасенные приближаются.

Бомбежки сменились бомбардировками. Это было не так шумно, но подбирать раненых на улице, в темноте, под визг осколков и свист проносившихся над головой снарядов, было делом нелегким. Но она подбирала; десятки раненых перетаскала она на своей спине.

Огневой налет в тот отвратительный, холодный, ветреный вечер был особенно жестоким. Поля прижалась к стене за ящиком с песком, и над ее головой осколки ударили в дом. Посыпалась кирпичная пыль, по мостовой запрыгали куски штукатурки, выбитые стекла. Потом кто-то застонал почти рядом. Улица была пустынна. Редкие пешеходы лежали на земле, вставали, бежали в дома или снова прижимались к мостовой.

Поля прислушалась. Стон был действительно рядом. Она осторожно перебежала туда. Пламя нового снаряда осветило улицу. Она упала. Снаряд попал в тротуар, и звон удара долго жил в ушах. Сердце колотилось. Поля увидела лежавшего у дома паренька. Где она его видела раньше? Ну конечно, весной на футбольном матче. Изумрудная лужайка. Смех вокруг. Разноцветные майки. Молодость. Солнце. Яркая музыка, теплый ясный день с курчавыми облаками, и этот парнишка, которому приятели кричали:

— Эй ты, хавбек! Держись!

Сейчас он лежал без памяти, но, когда Поля нащупала его рану,— он был ранен осколком в бедро,— он очнулся и застонал еще сильнее. И она сказала, перевязывая его:

— Эй ты, хавбек! Держись! Слышишь?

Парнишка замолчал, и она помогла ему встать. Но идти он не мог. Он почти навалился на нее, и она тащила его во тьме, рассекавшейся красными длинными мечами.

Но вероятно, этот удар расколол пополам улицу, в все дома, и все вокруг, потому что Поля потеряла сознание. Она лежала на мягкой зеленой лужайке, и ей теперь говорил незнакомый голос: «Эй ты, хавбек, держись!» Но она не могла ни смеяться, ни даже пошевелиться. «Это мой девяносто восьмой раненый»,— подумала она почему-то и снова потеряла сознание. Но в руке она держала руку того, лежавшего молча рядом.

И когда над ними наклонились люди, Поля сказала чистым, звонким голосом:

— Возьмите его, он тяжело... в бедро...— и не договорила.

— Ноги,— сказал кто-то в темноте,— она ранена в ноги.

Она не слышала. Она говорила кому-то на мягкой зеленой лужайке:

— Мне холодно, какая зеленая холодная трава.

Больше она ничего не видела в эту ночь...

...Но она осталась жива. Когда она впервые пришла в себя, был действительно мягкий солнечный день и в окно глядели большие зеленые сосны.

ВСТРЕЧА

Он быстро шел по обледенелому тротуару, погруженный в свои думы. Изредка он кидал взгляд на дома, темные, вечерние, зимние дома военного времени. Иногда он проходил мимо развалин, не замедляя шага. У одного только здания с широким входом он задержался невольно. В этом доме помещался Детский театр. Сколько шума, веселой суеты, гама и радостных восклицаний знали эти стены! Сколько восторженных, сияющих глаз смотрели на сцену, какие овации вырывались из сердец маленьких зрителей и как дорожили этим детским вниманием взрослые — талантливые актеры этого прекрасного театра!

Теперь все было пусто и мрачно. Только клочки афиш, обледенелые разноцветные куски бумаги трепал ветер, пробегающий по темной улице. Режиссер вздрогнул и ускорил шаги. Он ясно представил себе артистов, еще недавно весело шутивших, сидевших перед большими зеркалами, гримировавшихся, повторявших роли с таким же увлечением, с каким там, в зале, следили за их жизнью на сцене маленькие люди большого города.

Иные из этих артистов уехали, а иные... Он вспомнил с жестокой ясностью двух, которые работали в его бригаде на фронте. Какая простая стала жизнь! Они сумели быть артистами в тесных блиндажах, где суровые, с обветренными лицами бойцы высоко ценили их искусство. Они выступали с площадки

грузовика, среди больших снежных полян, они играли на пространстве в несколько метров [redacted] землянках. Они были веселые, хорошие люди, простые сердца, и фамилии у них были простые: Семенов, Емельянов... Они пробирались под визг мин, под оглушительный рев снарядов по ходам сообщения, перебежками по полю на передовые, они не отступали перед опасностью.

Они умерли одновременно в тихое зимнее утро, и другие артисты с железной дисциплиной людей искусства без них провели бригадное выступление.

Режиссер сам видел, как два черных смерча поглотили их и как покраснел снег на том месте. Да, все стало просто, как этот темный город, который когда-то весь сиял и переливался огнями. Величественная простота вечера, темных зданий, пустынных улиц — и такая же простота жизни и смерти.

Режиссер внезапно ускорил шаги, так как он увидел, как шедший впереди него пешеход покачнулся и стал взмахивать руками. Эти взмахи были похожи на слабые движения утопающего. Режиссер добежал до него и подхватил под руку. Пешеход упал головой ему на плечо, и они так стояли несколько мгновений. Режиссер увидел старика с исхудалым лицом, большими лихорадочными глазами, жадно глотавшего воздух широко открытым ртом.

Наконец старик, покачнувшись еще раз, несколько пришел [redacted] себя. Он взглянул на пришедшего к нему на помощь и сказал тихим хриплым голосом:

— Простите меня великодушно, я ослабел...

— Вы далеко живете? — спросил режиссер.

— Нет,— отвечал старик, опираясь на него, как на великана, и действительно, режиссер казался великаном рядом с тщедушным, тонким, почти призрачным стариком.— Нет,— повторил старик.— Я живу вон [redacted] том доме, [redacted] конце улицы...

— Я провожу вас,— сказал режиссер,— мне по дороге.

Он взял старика под руку, и они отправились.

Старик шел вздыхая и что-то шепча. Режиссер поддерживал его бережно, как больного отца. Так они молча, спотыкаясь на льдистом тротуаре, дошли до ворот дома, до подъезда, черного, как пещера.

Старик сказал: «Здесь» и прислонился [redacted] дверям подъезда. Режиссер стоял против него. Старик медленно поднял голову, осмотрел улицу, взглянул на темное холодное небо и пристально всмотрелся в своего спутника.

— Молодой человек,— сказал он, и бледная тень улыбки появилась на его тонких, почти черных губах,— знаете ли вы, в каком городе вы живете?

Режиссер молчал. Старик приблизил свое исхудалое лицо к его лицу.

— Вы живете в Илионе,— сказал старик громко.

— В Илионе,— повторил режиссер,— почему вам пришла мысль сравнивать наш город с Троей древних?

— Простите меня, я —старик, я старый преподаватель древней истории... Я не знаю города, легенда о котором была бы так величественна, как легенда о Трое, и только наш город сегодня — не кажется ли вам? — не только сравнялся с Илионом, но...— сказал он совсем тихо,— но и превысил его своим героизмом...

Режиссер ответил не сразу. Они стояли друг против друга в безмолвной тишине у входа, черного, как пещера, и, как крепостные стены, поднимались дома вокруг них.

— Пожалуй, вы правы,— сказал режиссер,— но [redacted] нашей Трое не будет троянского коня! Не будет — никогда!

Они горячо пожали друг другу руки, взаимно пожелали спокойной ночи и расстались.

ЛЬВИНАЯ ЛАПА

Юра не принадлежал к тем мальчикам, которым все время говорят взрослые: «Не путайся под ногами». Нет, он хоть был мал,— ему было всего семь лет,— но он пропадал по целым дням в парке, или на улице, или в зоологическом саду. Зверинец был перед его домом через дорогу. Он часто забирался в сад, и ему очень нравились звери.

Но ему было страшно стыдно сознаться, что больше всего он любил большого гипсового льва, стоявшего на столбе у кассы перед входом в сад.

С тех пор как он его увидел первый раз, он уже не мог относиться к нему равнодушно.

— Он охраняет сад, чтобы зверям не сделали худа разбойники, да, мама? — спросил он однажды мать.

— Да, да,— рассеянно ответила она, и он остался очень доволен, что мать не спорила с ним в таком важном вопросе.

Большой гипсовый лев гордо возвышался над входом, и всякий раз Юра приветствовал его дружески и почтительно.

...Над городом выли сирены, и матери, волнуясь и спеша, собирали детей и загоняли их в бомбоубежище. Юра сидел в подвале на скамейке, и его маленькое сердце ёкало. Страшные, неведомые ему грохоты ясно доносились сюда, в большой низкий подвал. Иногда подвал вздрагивал, как в испуге, что-то сыпалось вдоль стен снаружи, доносился звон разбитых стекол.

— Вот разбойники, прилетели опять,— говорили женщины возмущенно; старухи крестились при каждом особенно громком разрыве.

Вдруг дом тряхнуло так, точно кто хотел его вырвать из земли вместе с фундаментом и подвалом, как дуб с корнями, но потом раздумал и только очень сильно покачал.

— Эта близко упала,— сказала Юрина мама,— может, даже напротив...

И она не ошиблась. Когда тревога кончилась, все бросились смотреть, куда упала бомба. Юра побежал вместе с матерью. Бомба упала в зоологический сад, убила слониху, ранила обезьян, и испуганный соболь бегал по улице, вырвавшись на свободу.

Но Юра, плача, кричал одно:

— Мама, лев!

Столько отчаяния было в этом Юрином вопле, что мать невольно взглянула, куда указывал мальчик. Его прекрасный кумир — большой гипсовый лев — лежал на боку, положив огромную белую голову на лапу. Задних ног у него не было. Одна передняя лапа была раздроблена, но грива осталась такой же царственной, и взгляд его был строг и неподвижен, как всегда.

— Мама, разбойники убили его! — кричал Юра.— Мама... он сражался с ними...

И он бросился что-то искать у подножия столба, избитого осколками. Он рылся в обломках, и слезы текли неудержимо из его голубых глаз. Он что-то все-таки отыскал и теперь судорожно прятал в карман.

— Юра, что ты там делаешь? — сказала мать.— Что ты там в грязи копаешься? Перемажешься только, брось сейчас же подбирать всякий мусор...

Юра не мог уйти. Он все ходил вокруг столба и смотрел на лежавшего на боку льва, как будто хотел запомнить на всю жизнь этого бедного безмолвного зверя, стоявшего у входа в сад и сторожившего покой зверей несколько десятилетий. Юру не привлекали воронки, разломанный забор, перевернутая будка, касса, от которой осталось несколько столбиков, ни даже песец, бегавший где-то тут, в парке, между кустов. Он смотрел только на льва.

Однажды вечером к Юриной маме пришел запыленный военный. Он сидел за столом, пил чай, и Юра смотрел на него усталыми глазами, которые слипались все больше с каждой минутой.



Он так набегался сегодня, что плохо уже слышал, что рассказывал военный. А военный рассказывал о фронте, о том, какие там бойцы, как они бьются с немцами, какие совершают подвиги; он рассказывал о мамином брате, получившем орден Красного Знамени. Мама заметила, что Юра совсем валится со стула, сонный и усталый, и она повела его спать. Уже раздевшись, сидя на постели, он сказал:

— Правда, что дядя Миша получил орден Красного Знамени?

— Правда, он сражался как лев. Вот ты вырастешь, будешь таким же храбрым. Дядя Миша приедет — тебя научит воевать.

— Мама,— сказал он,— он сражался, как тот лев...

— Какой тот? — спросила мать.— Это всегда говорят так, когда сражается красноармеец,— как лев...

— Ну, значит, он сражался, как тот лев,— отвечал, не слушая ее, Юра.— Значит, хорошо сражался... Я буду тоже так сражаться...

— Ну, спи, спи,— сказала мать.— А то еще тревога будет, надо до тревоги выспаться.

Тревоги стали теперь постоянным явлением. Юру не всегда удавалось загнать в подвал. То он пропадал где-то на улице, то вылезал на крышу, пробравшись на чердак, то дежурил на санитарном посту. Он уже привык к зениткам, к качанию дома, и глухим ударам бомб.

— Где ты пропадаешь? — спросила его мать.— Ищешь, ищешь тебя — нигде нет. Не смей далеко от дома отходить. Без отца совсем распустился. Вот отец с корабля вернется, он с тобой поговорит. Совсем от рук отбился.

— Я у нас за домом баррикаду строю...— сказал он серьезно.

— Какую баррикаду?

— Уже на Большом строят, мама, баррикады. Я сам видел, и мы строим. Я сговорился с мальчишками...

Через три дня, после сильного налета, его принесли оглушенного взрывом бомбы. Мать, бледная, с растрепанными волосами, дрожащими руками раздевала его. Он лежал тихий, но уже пришедший в себя. Его только толкнуло слегка воздухом и бросило оземь.

— Я строил баррикаду за домом,— сказал он тихо, виноватым голосом.— Я жив, мама, ты не бойся.

Мать вытряхивала из его карманов всякую всячину, ища платок.

— Что у тебя за дрянь в кармане всякая,— сказала она, вытаскивая большой, ставший уже серым, кусок гипса.

— Мама! — закричал Юра.— Не трогай! Это львиная лапа. Оставь! Это мне нужно. Это у меня на память.

Мать удивленно смотрела на кусок гипса. Действительно, на нем был ясно заметен большой полукруглый коготь.

— Зачем тебе это? — спросила мать.— Это ты там, в мусоре, отыскал?

— Это на память,— сказал он, хмуря свой маленький лоб.

— Да зачем тебе на память — не понимаю, Юрик, маленький,— нежно сказала мать.

— Я отомщу за него... этим разбойникам! Пусть только мне попадутся. Я им припомню...

СЕМЬЯ

— Даша, иди-ка, мать, сюда, разговор один есть,— сказал Семен Иванович.

Даша посмотрела на мужа так, как будто видела первый раз перед собой этого широкоплечего серьезного человека с неторопливыми движениями и суровыми глазами, давно уже не улыбавшегося и не отпускавшего шуток по ее адресу. Она вытерла руки о передник, села на стул и сказала, отводя взгляд куда-то в угол:

— Да знаю я твой разговор, Семен.

— Знаешь? Откуда же ты знаешь?..

— Сердцем чую. Ну, уж говори...

— Притвори дверь, чтоб Оля не слышала...

— Оля ушла за водой, а я тебе сама подскажу; ты только меня поправь, если что не так... Я ведь видела, как ты после смерти Кости мучаешься. Ну что же, Костя погиб, защищая Ленинград, хорошей, чистой смертью умер, а этим фашистским выродкам надо мстить, Семен Иванович, надо мстить ежедневно, ежечасно. Чего они творят, мерзавцы, не перескажешь, язык не поворачивается — такой страх; презираю я их и ненавижу — за Костю, за брата. Мстить им хочешь, на фронт решил. Да? Права я?

Семен Иванович ударил ладонью по колену, встал, подошел к ней, обнял ее, поцеловал, сказал:

— Эх ты, угадчица! Правильно, все так и есть. Чтобы не раздумывать, я уж и бумаги оформил. Вот, мать, какие дела —

одним бойцом больше стало. Не могу я работать — душа кипит. А я старый солдат — империалистическую всю прошел, стрелять не разучился. Только, мать, времени у меня мало. Собери, что там нужно со мной вещичек...

— Все будет в порядке,— сказала тихо Даша.

Она подошла к окну и взглянула на улицу: не идет ли Оля. На улице было множество людей, как в праздник. Все шли пешком, потому что трамваи не ходили. Люди тащили саночки с дровами, с какими-то мешками, на иных санках сидели старики или старухи, закутанные в платки, обмотанные шарфами.

Воду везли тоже на санках. Ее везли в детских ваннах, в бидонах, в ведрах, в жестяных ящиках. Люди скользили на мостовой, вода выплескивалась и замерзала ледяными языками. Мороз был жестокий. Порывы ветра налетали с залива, бросали в глаза людям пригоршни колючего снега, ледяной пыли. Люди обвязали себе лица до рта черными повязками и шли как бы в полумасках, как ряженые. Даша некоторое время смотрела на пестрые толпы, двигавшиеся беспрерывно. Под полумасками намерзали от дыхания ледяные кружева. Белый пар клубился изо рта пешеходов. Трудно было увидеть Олю с ведром в густоте этого человеческого потока. Оля должна прийти с минуты на минуту.

— У меня тоже есть разговор,— сказала отвернувшаяся от окна Даша.— Я тоже решила: раз ты на фронт — я тебя заменяю. Не перебивай меня, Сеня, послушай, что я скажу. Город наш в осаде. Невесть какие мучения люди принимают. Город фронтом стал, в газетах нынче пишут. И это правда. А если так, ты уходишь за брата мстить гитлеровцам — я на твое место встаю. Я еще женщина крепкая — выдержу, не беспокойся. Я понятливая, работу люблю. Тебя не подведу. Стыдиться жены не будешь... Дело понимаю. Ведь я с завода ушла только из-за детей.

— А сейчас? — сказал Семен Иванович.

— Что сейчас?

— Да ведь Петя мал еще. Да и Оле всего двенадцать. Слабенькая она. Как же дети-то будут, если я и ты из дома уйдем вместе? Завалится дом, мать; ты подумала об этом?

— Подумала, хорошо подумала, Сеня. И вот что я надумала: отправлю детей на Пороховые, там у меня подруга старая есть — у ней тоже погодки с моими; попрошу ее их пригреть. Вот тебе и руки свободные. Не те времена, чтобы думать о семейной жизни. Может, увидимся, и может, и нет. Да и дома наши враг рушит. Надо бороться с ним, нечего руки сложа сидеть. Никто за тебя драться не будет — сама дерись... Правильно я говорю, Сеня?

— Правильно, мать,— сказал Семен Иванович,— хорошо говоришь.

Вошла Оля. Оставив ведро с водой на кухне, она сразу, чтобы погреться, вошла в комнату, прошла к маленькой печурке и стала греть озябшие маленькие посиневшие руки. Какими-то необычайными показались ей сегодня отец и мать.

— Мама! — сказала она.— Отчего вы такие, ну, отчего вы такие? Что случилось? Кого еще убили? Нет, правда, вы что-то скрываете?..

— Нечего нам от тебя, девочка моя, скрывать,— сказала Даша,— вот раздевайся и слушай внимательно, что мы тут решили.— И скороговоркой, задержав дыхание, она сказала: — Отец на фронт идет, а я на завод, а вас отправлю к тете Леле на Пороховые... Вот, дочка...

Оля подбросила в печурку два полешка и сидела перед печуркой, смотря в ее низкий, неохотно разгорающийся огонь. Не подымая головы, она спросила:

— А нас с Петькой зачем на Пороховые?

— А кто же в доме, девочка, управляться будет? И в очереди за хлебом ходить, и дрова доставать, и воду таскать, и Петю кормить? Кто же тут управится, если меня не будет?..

— Мама, не пойдем мы с Петькой на Пороховые, не люблю я тетю Лелю. Ну ее к богу! Она ворчит, ворчит целый день... А кто тут управится? Я управлюсь!

Она вдруг встала, резко сбросила шубенку с худых, почти мальчишеских плеч, тряхнула головой и начала говорить:

— Плохо я сейчас управляюсь? Воду ношу, подумаешь! Дрова я знаю, где брать, мне Валька из семнадцатого поможет, печку растопить — подумаешь, какие разносолы на обед; за хлебом — с той же Валькой по очереди будем стоять; Петьку я и так каждый день кормлю. Не думай, что я маленькая. Теперь маленьких нет. Все мы большие. Идите оба, раз нужно,— идите. Ты же домой приходить будешь? Будешь?.. Ну и ладно! А трудно мне будет — подумаешь, всем трудно. Ни на какие Пороховые я и не двинусь. Вот, мама. Так и будет, мамочка дорогая, все хорошо будет. Дай я тебя поцелую... Вот и все, подумаешь...

РУКИ

Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в теплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны. Много он видел дорог на своем шоферском веку, но такой еще не встречал. И как раз на ней приходилось работать, будто ты двужильный. Только приехал в землянку, где тесно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами, уже кличут снова, снова пора в путь. Спать будем потом. Надо работать. Дорога зовет. Тут не скажешь: дело не медведь, в лес не убежит. Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете: проси товарищей вытаскивать. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришел на эту лесную дорогу регулировщиком.

То наползает туман, то дохнет с Ладоги ветер, какого он нигде не встречал,— пронзительный, ревущий, долгий. То начнется пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные, сдают. Товарищей, залезших в кюветы, надо выручать, раз едешь замыкающим; и главное — груз надо доставить вовремя. А как он себя чувствует, этот груз?..

Большаков остановил машину, вылез из кабины и, тяжело приминая снег, пошел к цистерне. Он влез на борт и при

бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке стекает непрерывная струйка. Холодок прошел по его спине. Цистерна текла. Цистерна лопнула по шву. Шов отошел. Горючее вытекало.

Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить. Так мучиться в дороге, чтобы к тому же привести к месту пустую цистерну? Он вспомнил все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять долго и просто смотреть — этим делу не поможешь. Он, проваливаясь в снег, пошел к кабинке. Политрук сидел, подняв воротник полушубка, уткнув замерзающий нос и согретую его дыханием овчину.

— Товарищ политрук,— позвал Большаков,— придется побеспокоить.

— А что, разве мы приехали уже? — спросил политрук, мгновенно пробудившись.

— Выходит, приехали,— сказал Большаков.— Цистерна течет. Что будем делать?

Политрук вывалился из кабинки. Он протирал глаза, спотыкался, но когда увидел, что случилось, стал задумчиво хлопать руку об руку, соображая, потом сказал:

— Поедем до первого пункта, там сольем горючее, в ремонт пойдем. Так?

— Да оно как бы и не так,— сказал Большаков.— Как же оно так, если мы горючее не куда-нибудь, а в Ленинград, фронту срочно везем. Как же его просто сольешь?

— А что ты можешь? — сказал политрук, смотря, как скатывается бензиновая струйка вдоль разошедшегося шва.

— Разрешите попробовать — чеканить его буду,— ответил Большаков.

Он открыл ящик со своими инструментами, и они показались ему орудиями пыток. Металл был как раскаленный. Но он храбро взял зубило, молоток, кусок мыла, похожего на камень, и влез на борт. Бензин лился ему на руки, и бензин был какой-то странный. Он жег ледяным огнем. Он пропитывал насквозь рукавицу, он просачивался под рукава гимнастерки. Большаков, сплевывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.

Вздохнув, он пошел на свое место. Они проехали километров десять. Большаков остановил машину и пошел осмотреть цистерну. Шов разошелся снова. Струйка бензина бежала вдоль



круглой стенки. Надо было все начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь. Дорога была бесконечной.

Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины, он уже перестал чувствовать боль от ожогов бензина, ему казалось, что все это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по рукам бензин.

Он в уме подсчитывал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчетам выходило, что не очень много — литров сорок — пятьдесят; но, если бросить чеканить через каждые десять — двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал все сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве.

Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте и каждые сорок минут хватает зубило, и щель все ширится и смеется над ним и его усилиями.

Неожиданно за поворотом открылись пустые странные пространства, неохватные, белесые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему уже было не страшно. Он вел машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стукался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри его, замерзшего, в дым усталого существа, жила одна непонятная радость: он твердо знал, что он выдержит. И он выдержал. Груз был доставлен.

...В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облезшей кожей, изуродованные, сожженные руки, и сказал недоумевающе:

— Что это такое?

— Шов чеканил, товарищ доктор,— сказал он, сжимая зубы от боли.

— А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор.— Не маленький, сами понимаете, в такой мороз так залиться бензином...

— Остановиться было нельзя,— сказал он.

— Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин?

— В Ленинград вез, фронту,— отвечал он громко.

Доктор взглянул на него пристальным взглядом.

— Та-ак,— протянул он,— в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.

— Отчего не полечиться! До утра полечусь, а утром — в дорогу... В бинтах еще теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажмем...

ЯБЛОНЯ

В бомбоубежище погас свет. Оно сразу наполнилось криком и шумом отодвигаемых скамеек и стульев, потом какой-то голос прокричал:

— Тише, товарищи, сидите спокойно!

И люди стали сидеть в темноте. Налет длился уже несколько часов. Художник сидел на складном стуле, с которым он выезжал на летние этюды. Сейчас этот легкий трехногий, его собственной конструкции стул очень пригодился. Художник жил в маленьком домике, одноэтажном, старом, одном из тех многих ветеранов, какие еще стоят на широких улицах Петроградской стороны. Перед домиком был сад, и в саду — старый запущенный фонтан со ржавой трубой и гранитом, покрытым мохом. Сейчас глубокий снег скрыл его, и художник менее всего думал в эти часы о домике, саде и фонтане.

Его сознание смутно регистрировало разговоры соседей, восклицания ужаса и удивления, плач детей. Плотный черный мрак закутал его с головой, как плащ.

— Надо было давно уехать,— сказал кто-то раздраженно.

И он подумал: да, в самом деле, какая глупость, что он не уехал. Никакой трусости в этом нет. Он сейчас рисует плакаты, и они пользуются успехом, они висят на улицах и в клубах, в землянках на фронте — это верно. Но ведь он мог их рисовать не обязательно в Ленинграде. Да и условия работы здесь стали

нестерпимо трудными. Холодная мастерская, окоченевшие пальцы плохо держат карандаш, печурка ничего не греет, никак не можешь согреться. Бомбоубежища у него в маленьком домишке, естественно, нет, он бегает в соседний огромный дом отсиживаться долгими часами; он простужен, устал, кашляет, недоедает уже давно. Руки покрылись какой-то корой от холода, опухли. Это ревматизм или что-то вроде. Ему трудно ходить на большие расстояния, от дома до Союза художников, трамвая нет. Вот и свет погас. А ему рассказывали, что стоит отъехать на Волгу, и там города, залитые светом, теплые комнаты, есть в изобилии еда, там живут его товарищи, которые вовремя уехали... Да, да, какая глупость сидеть здесь в темноте, в холоде, в голоде и ждать бомбы на голову...

Время от времени дом содрогался сверху донизу, и тогда все затихали, и потом несколько минут царил дикий галдеж. Понемногу восстанавливалось спокойствие. Мрак, казалось, сгущался еще больше. Художник потерял представление о времени. Он вошел в подвал вечером. Сейчас уже, вероятно, поздно. Налет безобразно затянулся. Опять долетел гул удара, опять и опять... «Бросают бомбы»,— тоскливо подумал он. Вот и город, который он так любил, изменился. Его жалко до боли, до слез. Как все это мрачно и грустно. Вот сейчас кончится эта тревога, он выйдет на улицу и, может быть, увидит новые развалины домов, пожары, груды обломков... Эти квартиры, где висят в воздухе кровати и шкафы, зацепившиеся за балки,— жалкий инвентарь человеческого быта.

Тонко заплакал в углу невидимый ребенок. Художник стал представлять себе сквозь мрак эту детскую головку с широко открытыми глазами, полными слез. Может быть, он спал и проснулся, заплакал, испугавшись темноты. Нарисовать бомбоубежище — вот почти такое, только освещенное свечами. Это дрожащее пламя, пробегающее по лицам, черные тени на стене, настороженные фигуры, старухи, кутающиеся в старые шубы, молодые люди, шушукающиеся в углу, дети, которых прижали к груди молодые матери.

Свет блеснул на лестнице, и со двора донеслись в открытые двери звуки отбоя.

Тревога наконец кончилась.

Художник не торопился выходить. Он подождал, пока толпа втянулась в узкий проход, и ушел почти последним, ощупью, держась за холодные стены.

Он боялся, что увидит развалины вот сейчас, тут же рядом. Он думал, что он, так же спотыкаясь, проберется к своему маленькому домику, до которого два шага.

Он вышел на улицу и остановился, недоумевающий и растерянный.

Все было залито ослепительным, могучим лунным светом. Огромная, почти фиолетовая луна в морозной дымке висела над брандмауэрами в высоте зелено-синего неба, на котором расположились курчавые, белые, как отары белых мериносов, облака. Небо, казалось, звенело от холода и света. Пустые стены больших домов, выходивших на пустырь, были как бронзовые. Снег сладко хрустел. Атласно-голубые тени лежали на богатых сугробах вдоль улицы. Такая обычная, она сияла неизъяснимой прелестью.

Он шагнул к своему домику и не мог узнать места. Он очутился в саду, который был сказочен, как сон. На деревьях лежал иней в три пальца толщины. Каждая веточка была как бы отделана искуснейшим мастером, искрилась, источала сияние, непонятные огоньки бегали по верхушкам, где лежали соболиные шапки снега,— казалось, деревья одеты для торжественного танца и они сейчас поведут хоровод вокруг художника, сомкнув свои сверкающие руки и потряхивая алмазами во все стороны.

Посредине этого чудесного сада стояло дерево обворажившающей красоты. Все, что украшало другие деревья,— блестки, сиянье, искры, алмазы,— все было приумножено на нем, и все достигало совершенства, какого не могут сотворить человеческие руки. Дерево горело холодным изумительным огнем, оно, как белый костер, выбрасывало снежное пламя, и пламя это ни на мгновение не прекращало своей огненной игры.

Художник стоял, ничего не понимая, погруженный в немое созерцание. Он не узнавал места, не мог понять, как же он очутился в саду и где он вообще находится.

Он оглянулся. По улице шел народ. Слышался молодой смех и веселое скрипение снега. Он снял шапку и секунду стоял с закрытыми глазами. Он пришел в себя. Раскрыв глаза, он как бы вернулся на землю. Он стоял в собственном саду, пройдя прямо к фонтану, занесенному снегом. Как же он миновал забор, огораживавший сад? Забора никакого не было. Могучая воздушная волна взрыва унесла его, разбросав далеко по улице, начисто смела все эти старые, дырявые доски. Дерево

ослепительной красоты — была его знакомая старая яблоня, стоявшая всегда скромно у фонтана.

Он оглянулся и увидел город, залитый фиолетовой колдовской луной. Прекрасный город вставал вокруг него в неизмеримой, неповторимой красоте.

Художник смотрел на него, как будто родился заново. Все его мрачные мысли, раздиравшие его там, в подвале, исчезли. Как? Уехать из этого изумительного мира красоты, героизма, труда, великолепия! Разве отсюда уедешь? Никогда и никуда!

Этот город надо защищать до последнего вздоха, до последней капли крови, надо отбросить от его стен врагов, надо истребить их без остатка, а уехать — нет, никогда! И художник все стоял и смотрел — и не мог насмотреться и надивиться, полный великой радости и гордости.

СИБИРЯК НА НЕВЕ

Несмотря на то что наступило лето, дни стояли серые, дождливые, с холодными ветрами, с тяжелыми, лохматыми облаками, непрерывно наползавшими с моря. Было неуютно и хмуро. Город на Неве только что отдышался от немыслимых трудностей первой блокадной зимы.

Но в это воскресенье, которого ждали с большими опасениями, сильно сомневаясь в удаче задуманного, неожиданно появилось солнце. Сразу ожили сады и парки города, потеплели старые улицы, заблестела веселыми барашками широководная Нева. Солнце как будто шло навстречу людям, возымевшим дерзкую мысль организовать праздник посреди человеческих бедствий, убожества, разрушений, ужасов и смертей.

И все-таки это был праздник. В осажденном Ленинграде праздновали День физкультурника. На зеленых просторах Лесного двигались тысячи физкультурников на большой спортивный парад.

Парад открывали спортсмены на мотоциклах и велосипедах, несли знамена спортивных обществ, большие красные стяги с лозунгами. Двигались несчетные ряды девушек в спортивных светлых костюмах, в легкой обуви. Шли взрослые спортсмены, шли совсем подростки. И только серьезные лица идущих говорили о необычности всего происходящего.

Сюда, в удаленный от центра Лесной, глухо доходили грохоты далекого обстрела. И сейчас снаряды ложились где-то в

городе. Лесной потому и был избран местом для физкультурного парада, что его обстреливали сравнительно реже, чем другие районы. Над рядами спортсменов, спокойно маршировавших по квадратной большой поляне, над ветхими старыми дачами, огородами, березами и соснами, высоко в небе, постоянно ныряя в облака, ходил немецкий разведчик, которого просто притягивало непонятное ему скопление людей в светлом. Они двигались внизу, как на сцене, ярко светясь среди густой зелени.

Он пытался узнать, что же там происходит. Может быть, он слышал даже громовые ликующие голоса оркестров, когда снижался, но сразу же, потеряв уверенность, взмывал в высоту, потому что охранявшие поляну зенитчики умело отгоняли его подальше.

Прозвучала в рупоры новая команда, колонны остановились, ряды перестроились, разомкнулись. Спортсмены отступили друг от друга на два шага и замерли, готовые начать массовые гимнастические упражнения. В рядах преобладали девушки. Оглядывая этих похожих, как сестры, худощавых, тонколицых молодых девушек, зритель испытывал сложные чувства.

Полгода назад издевательством, кощунством показалось бы говорить о каком-то параде, о спортивных костюмах, о девических упражнениях на зеленом поле. Мертвецы и спортсмены, голод и легкая гимнастика — эти слова плохо соседили. Однако мертвецы страшной зимы были похоронены, самый свирепый голод остался позади. Нужно было найти новые силы и вместе с летним теплом ожить для великих трудов.

Не знаю, кому пришла в голову мысль организовать физкультурный праздник. Это была смелая и оправдавшая себя идея. Зрители смотрели на тысячи девушек, пришедших из госпиталей, из армии МПВО, из окопов, из учреждений, смотрели на этих сандружинниц, телефонисток, снайперов, зенитчиц, регулировщиц, грузчиц, шоферов, саперов и слесарей, не веря своим глазам.

Недавно казалось, что не хватит сил просто прибрать огромный город, привести его в порядок, обойти все его вымершие квартиры, чтобы очистить их, убрать снег и мусор и горы зимней грязи; казалось, что мало людей осталось в невской столице,— и вдруг тысячи спортсменов показывают сложные упражнения с таким умением, точно они только то и делали, что готовились к этому параду.

Взмахи тысяч рук, как взмахи крыльев, радость праздника молодости, дружные аплодисменты зрителей — все это так напоминало мирные времена, что было просто странно думать, что в нескольких километрах за колючей проволокой, за минными полями сидят смертельные враги, которые хотят смести с лица земли и Ленинград и этих презирающих их молодых спортсменок, спокойно показывающих свои достижения восхищенным зрителям.

Но о войне напомнили другие упражнения. Когда массовые выступления кончились, после перерыва на опустевшую поляну вышли бойцы в противоипритовой одежде. Они шли как бы в атаку и посередине поляны по сигналу упали. Это началось совершенно особое состязание из области химической войны. По командному свистку на поле бросились команды санитарок. Они должны были перед лицом наблюдающих за ними членов жюри, как бы под сильнейшим огнем противника, добраться ползком, по всем правилам, до раненых и, применяя все необходимые приемы, положить их на носилки и вынести из зоны боя, оказав первую помощь.

Здесь все шло на быстроту. Зрители увидели отличную выучку и умение юных сандружинниц. Все они были в противогазах, специальных защитных костюмах, с сумками на боку, в больших перчатках и особых сапогах.

Применения отравляющих веществ со стороны врага можно было ожидать. Озлобленный неудачным штурмом и блокадой, упорным сопротивлением города, враг мог решиться и на химическое нападение. Надо было быть наготове. Свисток судьи положил конец соревнованию. Были названы команды, занявшие первые места.

День физкультурника несомненно удался. Зимой и ранней весной ленинградцы были на пределе человеческих возможностей. Сейчас перед ними из пепла и руин на праздник явилось молодое поколение, один взгляд на которое заставлял сильнее биться сердце. Ощущение свежести, молодости, уверенности невольно рождало улыбки на строгих, исхудалых лицах ленинградцев. Кое-где слышался смех на тихих улицах. Песня неожиданно звучала там, где совсем недавно можно было услышать звон сорванных крыш и стекол, разбитых осколками, выдавленных напором взрывной волны.

Физкультурный праздник в Лесном продолжался, а немецкий воздушный разведчик так и не мог понять смысла

происходящего. Если бы ему даже разъяснили, что происходит перед ним на земле, он бы не поверил, решил, что это какая-то военная хитрость.

Но можно ли, например, назвать военной хитростью футбол? А футбол тоже входил в программу праздника, но для безопасности номера программы перенесли в разные места. Футболистов отправили на стадион подальше от Лесного.

Поэтому, покинув Лесной, я добрался где трамваем, где пешком к Тучкову мосту, к прославленному стадиону имени Ленина. Если бы это было в мирные времена, то пройти на стадион было бы не так легко. Народные волны непрерывно стремились бы сюда. Трамваи были бы увешаны гроздьями болельщиков всех возрастов. Автобусы с трудом прокладывали бы себе путь среди невиданного человеческого скопища. Автомобили выстроились бы рядами, заполнив все окрестности. Каждый помнил хорошо, что такое был стадион в День физкультурника в Ленинграде!

В этот же солнечный, жаркий день человек, долго не бывавший в этих местах, с удивлением увидел бы, что стадион вообще исчез, точно невидимая сила унесла его на ковре-самолете. Стадиона больше не было. Трибуны частью сгорели, частью были разобраны на дрова. Одиноко, как высокий многоэтажный дот, еще не прикрытый земляной маскировкой, возвышалась небольшая бетонная трибуна. С нее открывалось запущенное поле стадиона, обрамленное небольшим барьером железного лома. Пустынное поле, пустынные окрестности...

Никаких шумящих народных волн, никаких бесчисленных троллейбусов и автобусов... В тишине летнего дня позвякивали одинокие трамваи и гудели военные машины, пролетающие на Васильевский остров или мчащиеся с Тучкова моста к Большому проспекту.

И все-таки и здесь была жизнь, пусть не такая кипучая, как в Лесном. По набережной к стадиону шли маленькие группы и одинокие пешеходы. Они подходили к стадиону. Не было касс, никто не спрашивал билетов, всякий контроль отсутствовал. Но зрители, болельщики и футболисты, жаждавшие решительной схватки, были налицо.

Футбольное состязание еще не кончилось, еще подходили и подъезжали на мотоциклах, на велосипедах. Я углубился в боковые аллеи и не без удивления увидел, что и тут праздник в полном разгаре. Прямо на меня по аллее бежали в полном

боевом облачении воины-спортсмены. На лужайке у Ждановки человек размахивал гранатой. У него был уже немалый боевой опыт в этом деле, но сейчас грозное оружие было заменено простой деревяшкой.

В Ждановку, в мутно-зеленую воду, прыгали один за другим пловцы в одежде, с оружием и плыли так, будто они были под обстрелом. У них были сосредоточенные лица и быстрые движения. Почем знать, может, иные из них уже поплавали вдоволь, высаживаясь на невском пятачке или в десанте у зловещего ныне петергофского берега?

Я видел бег с препятствиями, военную эстафету... Я пошел на громкий стук палок. В дальней аллее соревновались спортсмены несколько иного плана.

Средних лет командиры степенно, не торопясь, прицеливаясь и размахнувшись со всем удовольствием, вышибали из городка высокие желтые рюхи, которые, кувыркаясь, летели в стороны под восторженные возгласы партнеров.

Увидев меня и узнав, командиры закричали:

— Настоящий рюходром, как у Павлова в Колтушах! Присоединяйтесь! Мы только что пушку раскокали... Или вы на футбол пробираетесь?

— Я на футбол. Такого еще футбола, признаюсь, в жизни не видел, хочу посмотреть.

— Да уж где увидеть! — отвечали мне.— Вряд ли где на фронте есть еще место, где под обстрелом мячи гоняют...

И действительно, над всеми бегущими, плавающими, прыгающими, играющими в рюхи, сидящими на трибуне, над зеленым полем, над Невой, над Ждановкой непрерывно, как будто с тяжелым вздохом, шли снаряды. Через ровные промежутки времени откуда-то — то ли от Лигова, то ли из-за Пулкова — появлялись всё новые и новые снаряды и, перелетев через стадион, гулко рвались в военном городке, между набережной и улицей Красного Курсанта. Так как цель, по которой били, была рядом, то их шелестение и ворчливое чавканье были очень слышны, так же как и их близкие разрывы. Но никто не наклонял головы, никто не обращал внимания на эти смертоносные предметы, летевшие над нашими головами.

Постепенно трибуна заполнилась. Если не вся, то больше чем наполовину. Почти все зрители на трибуне были в военном. На лицах у штатских и военных можно было увидеть следы

голодовки, усталости, бессонницы. Это была память незабываемой зимы.

Иные из командиров приехали прямо из окопов, с батарей, с кораблей. С высоты трибуны хорошо был виден город, река, по которой бежали буксиры, тянулись баржи, проходили катера, были видны боевые корабли, прижавшиеся к берегу, с полотнищами разноцветного камуфляжа, видны были самолеты, патрулирующие над Невой.

Я смотрел на футболистов и зрителей, и, право, мне трудно было сказать, кто был мне интересней: хромающий по полю судья, командир, вышедший для этого дня из госпиталя, голкипер, который вернется вечером в блиндаж на передовую, или болельщица со впалыми щеками, опирающаяся на палочку. Она с большим трудом дошла до этой трибуны, но она не могла не прийти, потому что не пропускала никогда физкультурного праздника в Ленинграде. Я узнал, что она художница. Сейчас она сидела и наслаждалась, как и все мы, блестящими свежими красками, нас окружающими.

Блеск невской быстрины, листва, вымытая дождями, сияющее легкой голубизной небо, изумрудное поле, по которому летал коричневый мяч, цветные майки игроков, синие морские кителя, зеленые гимнастерки вокруг — все веселило и радовало глаз. Даже темные столбы, подымавшиеся за деревьями и домами на берегу Ждановки,— столбы разрывов, не могли разрушить общего чувства праздничности и радости жизни.

Матч продолжался с неослабной силой. Снаряды летели все реже и медленнее, но летели на бедный военный городок, в котором уже не было ничего военного.

Меня приветствовал знакомый майор, который сел рядом и сразу бурно заговорил:

— Здравствуйте, здравствуйте, ну как жизнь, как праздник? Правда, здорово? В Лесном я вас видел издали. А девицы хороши, вы обратили внимание, другие даже в специальных локонах пришли, завились нарочно, чтобы быть красивее. Нет, здорово, а как чисто соколиную гимнастику показали! А тут, смотри-ка, думали, никто не придет на футбол, а вон сколько народу! И знаете, футбол ведь в трех местах. Рассредоточили. А каков стадион! Я сначала пришел, думаю: это где же я сяду — на траву, что ли, а гляди — трибуна одна цела. Ну, ее на дрова не разберешь — бетон. И вот-вот сейчас, смотрите, по голу... Ах черт, в перекладину!.. Нет, здорово! А что вы смеетесь?

— Да я вспомнил из далекого, как говорят, невозвратного прошлого один случай. Я, знаете ли, не болельщик и этих восторгов и стонов не принимаю всерьез, но людей, которые даже под обстрелом могут прийти за десяток километров, чтобы переживать, вполне понимаю. Так вот, приехали тогда в Ленинград испанцы-баски. Говорят, первейшие игроки. Никак нельзя упустить такой случай. Ну, меня уговорили-таки пойти. Билетов ни в какую не достать, мне и жене друзья достали. Подошел час матча, надо идти. Мы что-то дома замешкались. А у нас стадион рядом: дорогу перейти со Зверинской — и все. Перейти-то мы перешли, а тут народу — толпища, давка невозможная. И чтобы, значит, зайцев не было, контроль на каждом шагу. Ну, пробиваемся, пробиваемся, не жалея локтей, и всюду надо билеты предъявлять. Надоело мне во внутренний карман за ними лазить. Я переложил их во внешний маленький карманчик пиджака. Продолжаем среди всей суетни путь к месту и уже достигли мостика, последний контроль — и мы на стадионе. И тут я говорю жене: «Знаешь что, пойдем домой!» — «Как — домой? После всего этого, столько перенесли, пробиваясь? Что, тебе плохо?» — «Мне не плохо,— говорю,— а все-таки пошли домой!» — «Но почему?»

Я уже повернул и, вызывая всеобщее негодование, прокладываю дорогу назад в толпе. Вышли мы на более свободное место, жена говорит: «В чем дело?» — «В том,— отвечаю,— что кто-то инициативный, из тех мальцов, наверное, что все кричали: «Дяденька, нет ли билетика?» — просто, когда я отвернулся, вежливо из моего внешнего кармана билетики вынул и спасибо не сказал, так что последний контроль нам уже не нужен. Пошли домой!»

Пришли домой, я лег на диван, включил радио и чувствовал себя гораздо лучше, чем в этой давке на стадионе. И все было слышно, как шел матч... Вот какие бывали случаи. А тут, если бы билеты продавались на этот матч, надо бы эти билеты сохранить для потомков, которые, когда наступят мирные годы, будут тут сидеть на новом стадионе, им и в голову не придет, что тут происходило летом славного 1942 года, двадцать пятого года эры Великого Октября. Ведь не поверят, что мы под снарядами на футболе сидели?..

Мой приятель сказал задумчиво:

— Да ведь и не поверят, что вы думаете! Я вот пошел позавчера к одному другу — командиру, он там сейчас в рюхи

сражается вовсю — тоже чемпион! Он баньку организовал, в городе, на Песках. «Приходи,— говорит,— хорошо помоемся, как следует, я,— говорит,— оборудовал». Мы с двумя командирами пришли. И правда, банька подходящая. Стали мыться, как на́ тебе — объявление по радио: район находится под обстрелом. Да как рванет, вся крыша с баньки слетела, и мы чуть не голые выскочили на улицу. А следующим снарядом всю баньку начисто разнесло... Ведь тоже не поверят потом, скажут, выдумал... И то сказать, в фантастическое время мы с вами живем. Иду по Васильевскому острову, а там на углу Среднего был магазин, вывеска: «Гастрономия и вина». Я там перед войной армянский коньяк всегда покупал. Иду как-то зимой, обстреливали тогда здорово. Что с вывеской? Уже буква одна куда-то отлетела, и стало «Астрономия и вина». Прошло несколько месяцев. А на вывеске — помереть можно от смеха — уже читаю: «Астрономия вин»! Это же поэзия, честное слово... Астрономия вин! Имажинисты[1] не придумали бы такого. Вы ведь знаете, я стихи люблю. И даже иные собираю для памяти. А поэты, они после больших событий или даже во время событий рождаются как-то интересней, чем в мирное время... Вы это, наверно, тоже замечали?..

— Таких наблюдений не вел, но, действительно, вот после финской войны сразу появились, например, Михаил Дудин, опять же Алексей Недогонов, Сергей Наровчатов... А как Дудин появился, стоит вспомнить. Война с белофиннами, как известно, в Выборге кончилась, стал я отходить от боевых дней, вдруг получаю письмо. Со стихами. Пишет серьезные стихи молодой поэт, зовут Михаил Дудин. Надо сразу печатать в «Звезде», но кое-какие поправки все-таки следует внести для славы русского языка. Я пишу ему письмо, и приветствую, и поздравляю, и о поправках пишу, что, мол, выберете время, приходите, посидим, потолкуем о поэзии, о прошлых днях Кавказа и так далее. Проходит время, получаю ответ: «Очень хотел бы прийти, да не могу и даже, когда смогу, не знаю. И вовсе я не в Ленинграде, а на далеком Ханко, которое мы от финнов в аренду взяли и там стражу несем. А уж стихи поправьте сами, как где нужно». А потом подошел сорок первый год, новая война; на Ханко началось горячее времечко. Потом ханковцев

[1] Имажинизм — литературное течение в области поэзии двадцатых годов.

эвакуировали в Ленинград. Они теперь тут себя хорошо показывают. У них командир — известный вам Симоняк, железный человек, полководец стоящий, и Миша Дудин добрым поэтом стал. Да он уже в своем молодом возрасте в самую настоящую историю войны попал. Сам Маннергейм подписал этакое специальное обращение к ханковцам, что, мол, сдавайтесь, вы такие-сякие храбрецы, герои, и мы вас вроде в доме отдыха устроим за ваши заслуги, и что сопротивляться вам бесполезно. Ну, тут ханковцы по примеру запорожцев, писавших злое письмо турецкому султану, взъярились да и ответили Маннергейму и пером и кистью. Кистью-то ответил замечательный художник-воин Пророков, а пером — Миша Дудин. Вот уж такое письмо написали, что дальше некуда. Если бы принести это письмо в музей и прочесть запорожцам, что на репинской картине, то и они бы разразились таким грохотом, что снова в Стамбуле услыхали бы, ей-богу... Молодец Миша Дудин!

— А я вам,— воскликнул мой майор,— сейчас покажу стихи одного поэта, который на нашем фронте недавно объявился. Вы его еще не знаете. А я списал у товарища, он в дивизионной газете работает. Понравились мне его стихи, с собой ношу, хорошим людям показываю...

— Ну, покажите, пожалуйста, а вдруг это молодой да из ранних!

Он полез в свою полевую сумку, извлек из нее толстую, замасленную, видавшую виды записную книжку и, поискав в ней, протянул мне страничку. Я прочел стихотворение неизвестного автора. Оно называлось «Чайка».

Как полумесяц молодой,
Сверкнула чайка предо мной.
В груди заныло у меня...
Зачем же в самый вихрь огня?
    Что гонит?.. Что несет ее?
    Не спрячет серебро свое...
    Зачем?
    Но тут припомнил я...
Зачем?
Но разве жизнь моя...
    Зачем?
    Но разве я не так
    Без страха рвусь в огонь атак?!
И крикнул чайке я:
«Держись!
Коль любишь жизнь —
Борись за жизнь!»

— Мне нравится,— сказал я и снова перечел короткие строки,— право, это настоящие стихи. Где вы его взяли, этого молодого человека. Он молодой?

— Молодой, храбрый и стоит своего имени...

— Что же это за имя?

— Зовут его громко, знатно зовут, как старого полководца, воспетого поэтами...

— А например, Кутузов, что ли?

— Почти угадали. Зовут его Георгий Суворов. Младший лейтенант Георгий Суворов уже отличился в боях и сам хорош собой.

— Откуда он, здешний, ленинградский?

— Нет, вовсе нет, он из Сибири, из страшной глуши пришел... Смотрите-ка, один гол они уже забили! Сейчас чуть второй не состоялся. Вы не поедете на Карповку — там на стадионе тоже футбол. День физкультурника просто на славу!..

— Подождите,— сказал я,— что вы еще знаете о Георгии Суворове?

— Я больше ничего не знаю, потому что никогда в жизни его не видел.

— А как же вы говорите, что он в боях отличился и собой хорош?

— Мне товарищ рассказал, у которого я стихи списал эти. Говорят, что у него много стихов.

— Это все очень интересно,— отвечал я.— Я должен обязательно его увидеть...

И я его увидел. Уже вторая военная осень осыпала улицы листьями всех цветов и в комнате, походившей на каюту много видевшего бурь корабля, было темновато, когда ко мне прямо с переднего края пришел Георгий Суворов.

Почти таким я и представлял себе его. Он был из тех ладных молодцов, в которых чувствуется что-то богатырски-молодое, и застенчивое, и дерзкое вместе, которые на вопрос: «Кто пойдет в самое пекло?» — отвечают, делая шаг вперед: «Я пойду!» Было и нечто суровое в этом ясном, открытом лице, может быть, оттого, что брови были слегка нахмурены и рот был очерчен решительно и строго. Глаза с задоринкой смотрели прямо на собеседника, а небольшие мягкие усы сразу заставили меня перевести взгляд на его гимнастерку, где красовался некий знак.

Когда вы встречали в те годы бравого, подтянутого бойца, у которого на груди красовался белый щит с красной звездой, вы знали, что это гвардеец. И если в старину, например, флотский экипаж был назван гвардейским только потому, что он обслуживал царские яхты в первый период своего существования (потом он сражался действительно по-гвардейски), то гвардейские полки Красной Армии получили это звание не по простому отбору, не по случайной удаче, а добыли это право в кровавых битвах, показав свое мастерство, истребляя гитлеровские полчища.

Таким образом, передо мной стоял гвардеец, представитель самых бесстрашных и умелых полков нашей армии. А смотря на его усы, я не мог сдержать невольной улыбки, потому что знал, что Суворов принадлежит к славной 70-й стрелковой дивизии, которая за отличные боевые действия получила гвардейское знамя и стала 45-й гвардейской ордена Ленина дивизией. А командовавший ею Герой Советского Союза генерал-майор Краснов отдал первый приказ по гвардейской своей дивизии, где, между прочим, приказал всему мужскому составу дивизии отрастить усы, а всем телефонисткам, связисткам, пулеметчицам, сандружинницам и прочему женскому составу сделать маникюр и шестимесячную завивку, чтобы подчеркнуть аккуратность и воинскую выправку.

Летние наступательные бои, в которых участвовал Георгий Суворов у Старо-Панова, Путролова, вместе с боями за Ям-Ижору, Ивановское и Усть-Тосно, сорвали план подготовлявшегося Гитлером осеннего штурма Ленинграда.

Красновато-бронзовые щеки Георгия Суворова, обветренные боевыми дорогами, опаленные огнем непрерывных сражений, делали его похожим на индейца. Говорят, есть в Сибири остатки таких старых племен — ительмены. Вот он был похож по цвету лица на такого ительмена, но на самом деле он никакого отношения к краснокожим не имел. Был он действительно сибиряк, но пришел на фронт с Абакана, из Хакасии, и сначала сражался в знаменитой панфиловской дивизии. Когда под Ельней в бою осколок вражеской мины впился ему между ребер, он сам, стиснув зубы, вырвал его, не застонав.

Движения его были уверенные и ловкие. Он как будто был сделан весь из красноватого металла. Закалка охотника и солдата чувствовалась в сильных руках и широких плечах.

Его полевая сумка была переполнена стихами. Стихи эти были самые разные, хорошие и плохие, незаконченные и зеленые, как маскировочные еловые ветви, прикрывающие снайпера, стихи, посвященные всему, что волнует сердце молодого воина-поэта,— ему шел всего двадцать третий год. Я сказал, что знаю некоторые его стихотворения, знаю «Чайку», и она мне нравится. Он начал без всякой ложной скромности читать стихи:

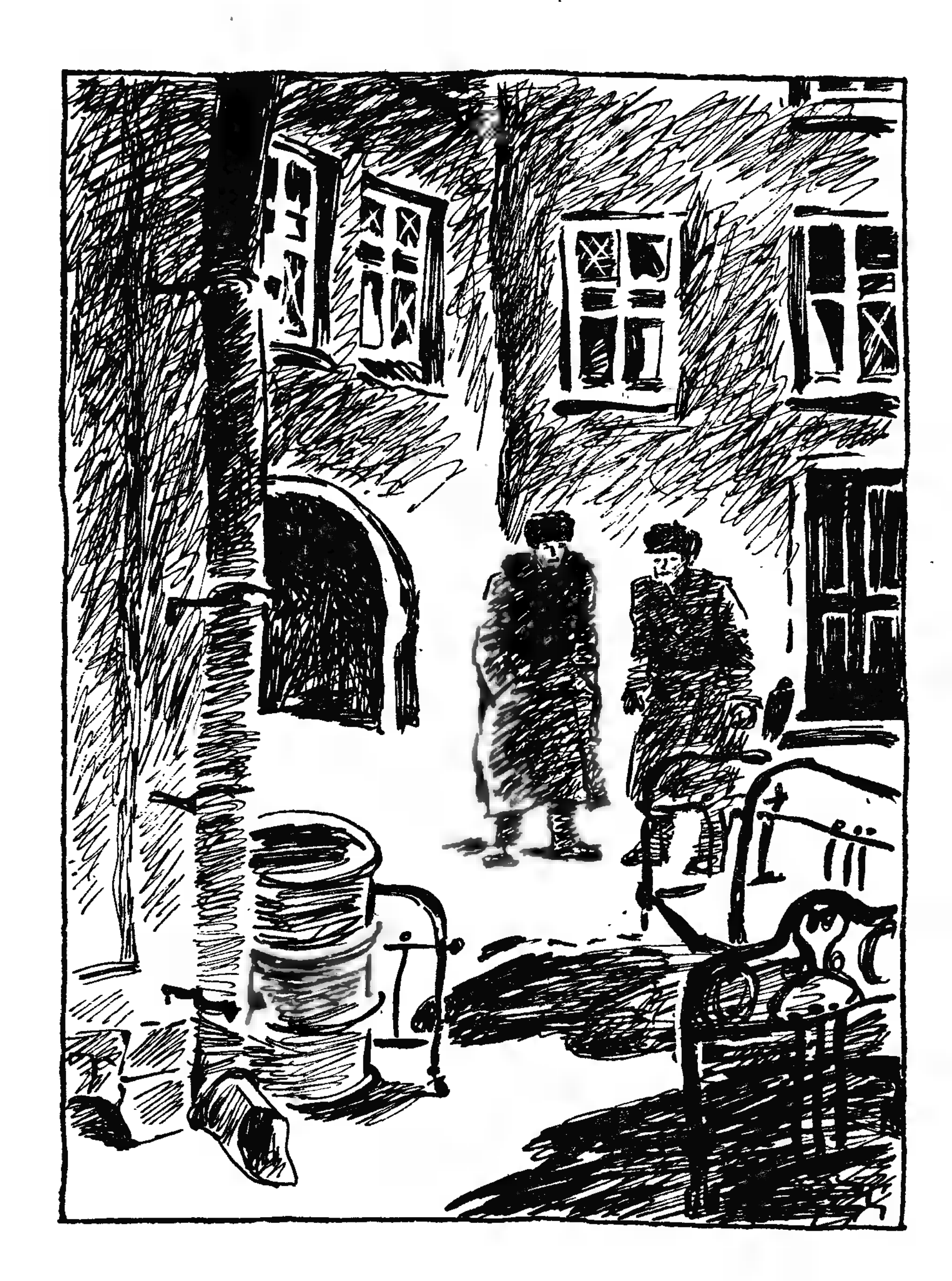
Красноармеец бьется так:
Пред ним громады вражьих тел.
Диск автомата опустел...
Встает обрадованный враг.
    Красноармеец бьется так:
    В подсумке две граиаты есть —
    Голов фашистам ие унесть!
    С землею смешан черный враг.
Красноармеец бьется так:
В руке один клинковый штык —
С размаху заколол троих! —
Четвертый?! Поднял руки враг!

Я смотрел на Георгия Суворова, и наивная сила этих стихов убеждала, потому что это были слова солдата, который, несмотря на свою молодость, был участником самых свирепых схваток, знал, что такое пятачок на Неве, где простреливается каждый метр, знал, что такое схватка, где пленных не берут, где нельзя отступать ни на шаг, знал, что такое смерть друга, боевая дружба и неистовая злоба врага.

В жилах этого сильного, умного, веселого человека текла кровь его далеких предков — смелых искателей новых земель, казаков Ермака, жила страсть природных воинов и песенников. В его роду по женской линии были польки, из семейства ссыльных поляков, были в роду и шаманы, старые хакасцы, с бубнами, обвешанными лентами, камлающие над колдовскими кострами в кедровой чаще у священного родника.

Он читал стихи о своих полковых товарищах, о боях на Неве, о танке, чьи гусеницы были красны от крови фашистов, о цветах, растущих на козырьке окопов, о тропах, вьющихся по ущельям хмурого Абакана, о темных струях железной руды в отвесных утесах, об охоте и ночлегах в глуши и о той тропе войны, которой он идет сейчас, «платя ценою крови и лишений за каждый шаг...».

Передо мной стоял человек цельный, мужественный и полный какой-то скрытой нежности и грусти. Все в нем было



настоящее: и страсть, и храбрость, и эти неустоявшиеся и пьянящие, как молодое вино, стихи. С этой встречи началась наша дружба.

В условиях города-фронта не так легко было встречаться, тем более находить свободные вечера, чтобы слушать стихи и говорить о стихах. И все-таки такие встречи были и у меня, на Зверинской, и где-нибудь на фронте за городом, когда я попадал в 45-ю гвардейскую.

Георгия Суворова на Ленинградском фронте скоро узнали многие. Слухом земля полнится, а братьев-литераторов в армии было много, и стихи сибирского поэта стали известны, тем более что некоторые из них печатались не только во фронтовой печати.

Сам командир дивизии, храбрейший и неистовейший Краснов, любил писателей, и иметь в своей дивизии собственного поэта ему было приятно. Боевых друзей у Георгия было много. Из Сибири писали ему друзья: Александр Смердов, Леонид Мартынов. В моей семье он стал своим человеком, и когда он появлялся в городе, иногда со своим задушевным приятелем Олегом Корниенко, и то и вместе с Мишей Дудиным, который стал непременным бардом Ленинградского фронта, то начиналась бесконечная беседа, прерываемая иногда обстрелом района. Когда снаряды ложились близко, мы уходили на кухню, и пили чай, и продолжали разговор о поэзии и о жизни.

Георгий Суворов был прост, как быт, нас окружавший. Когда я долго не видел Суворова, я скучал о нем. Бои вокруг города шли все время. Врага изматывали на самых разных участках фронта. Эти бои подчас носили жестокий характер, потому что бились действительно за каждую пядь земли. Я всегда думал о Суворове. Мне так хотелось, чтобы ему было хорошо в жизни, чтобы он дожил до победы. Он был достоин ее.

Мы все жили суровой жизнью, но в каком-то громадном коллективе, который страдал, переживал боль, грустил и радовался так, будто имел одно сердце и один разум.

Мне было радостно думать, что где-то в блиндаже при коптилке этот сибиряк на Неве пишет стихи. Он писал их и в окопах, в паузе между боями, перед атакой, в болотах, окутанных пороховой гарью, на отдыхе под соснами, расщепленными осколками бомб и снарядов. Он писал свои строки как дневник, как свидетельство боевого пути. У него не было времени отделывать

стихи. Но они рождались, словно волны, гонимые вихрем, словно слова сами находили связь, и только он должен был, перенеся их на бумагу, дать им дыхание, чтобы они ожили. Все вокруг так просто:

Мы тоскуем и скорбим,
Слезы льем от боли...
Черный ворон, черный дым.
Выжженное поле...
    А за гарью, словно снег,
    Ландыши без края...
    Рухнул наземь человек —
    Приняла родная.
Беспокойная мечта,—
Не сдержать живую...
Землю милую уста
Мертвые целуют.
    И уходит тишина...
    Ветер бьет крылатый.
    Белых ландышей волна
    Плещет над солдатом.

В те дни снайперы после возвращения со своей охоты, приезжая в город, приносили на могилу Александра Васильевича Суворова цветы, сорванные ими на переднем крае, и давали клятву мести, клялись истребить как можно больше врагов, мстя за страдания советских людей...

Цветы и кровь соседили тогда не только в стихах, но и в жизни. Раз я шел с Георгием Суворовым по Петроградской стороне. Все было привычно: развалины, и проломы, сделанные снарядами в стенах, и ручей, который подавал свой голос в руинах, падая с верхних этажей из разбитой трубы, и заколоченные досками окна, и разбитая мостовая, и стены, иссеченные осколками на такой высоте, что страшно было представить силу взрыва, закинувшего их под самую крышу...

Через пустынную улицу неторопливо бежала большая, рыжая, с подпалинами крыса. Откуда-то доносились глухие стуки, точно гигант выколачивал дубиной матрас, набитый железом. Это шел очередной артиллерийский обстрел Васильевского острова. Вдруг Георгий Суворов на секунду задержал шаг и как-то с особым прищуром своих голубых глаз осмотрел давно разбитый бомбой дом. От него мало что осталось. По-видимому, пожар довершил дело. Обгорелая руина с вывернутым нутром, почерневшая, мертвая, уже не хранила никакого признака человеческого жилья. Только на ржавых изогнутых

железных перекрытиях висели в разных положениях обгорелые кровати. Их было много. Они торчали из черной пасти подвала, они зацепились за остаток трубы, они навалились бесформенной грудой друг на друга в провале между этажами.

Тут я оглянулся и увидел, что нас окружают кровати и на улице. Так, ямы в мостовой, выбитые снарядами, были огорожены кроватями, чтобы ночью при затемнении никто бы не упал в них и машина не наскочила бы на полном ходу.

Немного далее, там, где когда-то был сад и, как я помню, стояла за забором яблоня у деревянного домика, теперь раскинулся огород, и этот огород, как все почти огороды в городе, был огражден кроватями. В каждом доме, почти в каждой комнате были кровати. И когда пожар съедал до остатка все, что могло гореть, кровати оставались. С ними ничего не мог поделать даже взрыв бомбы весом в тонну. Он мог только изогнуть их, как цирковой силач, показывающий свою силу, гнет рельсы,— не больше.

Георгий Суворов, видя, что я, как и он, рассматриваю кровати, сказал:

— Когда были бои у Красного Бора, один пожилой солдат, когда бежал в атаку, кричал что-то непонятное. Вы знаете, что, когда бегут, обязательно кричат. Кто кричит: «Вперед за Родину!» или «За Ленинград!», «За город Ленина!» Разное кричат. Но этот солдат кричал что-то такое, что его соседи, слышавшие его крик, сначала не поняли, потом им было не до разговора, и только когда вечером уже в отбитом у немцев блиндаже располагались на отдых, вспомнили дневной бой и тут пристали к нему: «Что это ты, братец, кричал, когда бежал в атаку?» Он сначала нахмурился и ничего не отвечал, а потом сказал сердито: «Чего пристали? Кричал, как все: «За Родину! Ура!» — «Нет, вот уж нет,— настаивали товарищи.— Ведь не то кричал, ну, сознайся, чего плохого, скажи, чего ты такое странное кричал. Ведь мы слышали, хотим, чтобы ты сам сказал». Доняли человека, он совсем духом упал и говорит: «А что я, по-вашему, кричал?» — «А ты кричал, честное слово, мы слышали: «За кровать!» Вот что ты кричал, и так сильно: «За кровать!» Что это значит? Расскажи, ведь просто так не закричишь. Какой-то особый смысл в этом есть или нет?»

Ничего не ответил человек, насупился и молчит, прямо черный стал. А его дружок сделал знак — оставьте его в покое,— и потом, когда из блиндажа вышли, он объяснил, в чем дело. «Я,— говорит,— с ним в городе был — он давно писем от своих не имел. Пошли мы к его дому, а вместо дома — прах, разбомбили дом начисто. Пошли у соседей узнавать. Узнали, что погибли его жена и дочка-школьница. Ночью было, не успели выбежать. Он стоял перед домом долго, я уже его за рукав взял: «Пойдем», а он мне показывает на что-то. Смотрю: кровать повисла между стен. Узнал свою кровать по этажу, по месту расположения, там еще рядом, видно, знакомые какие-то вещи повисли разбитые... Эта кровать — все, что осталось у него в памяти от прежней мирной жизни и от близких. Вот когда в бой идти, он сам не помнит, что кричит: за кровать. Месть за погибших у него в сердце. И вы видели, как он дерется. Все перед ним стоит та страшная картина, так что вы не добивайтесь от него объяснений. Человеку тяжело, и все! И точка. И не удивляйтесь, если он и снова с таким криком в атаку пойдет!..» Вот почему я невольно взглянул на дом с кроватями и вспомнил ту историю...

И снова мы шли с Георгием Суворовым по нашему многострадальному городу, и, когда вышли на так называемую ватрушку — полукруглую набережную перед бывшей Биржей, белым домом, перед которым возвышались ростральные колонны, Суворов сказал, указывая на зенитную батарею, расположившуюся на газонах бывшего сквера, на орудия, торчавшие из щелей:

— Как быстро привыкает человек к самому трудному. Ведь на этой ватрушке, мне рассказывали ленинградцы, няни детишек водили, да старые моряки, живущие на покое, приходили сюда гулять, да студенты из университета, девушки из мытнинского общежития, ну, еще туристы, а теперь живут в блиндажах, фронт! Все вокруг засыпано осколками, и мы с вами идем и ничему не удивляемся...— Помолчав, он добавил: — Хотя я и сибиряк, но чувствую, как все больше становлюсь ленинградцем, с каждым днем все больше!

Наступил новый, 1943 год. В огненном январе был совершен прорыв блокады Ленинграда. Кто участвовал в этом, тот никогда не забудет многодневного сражения, превратившего пространство между Ладожским озером и Московской Дубровкой в арену кровопролитного побоища.

Здесь, к югу от озерных берегов, еще в дореволюционные годы разрабатывали торф. Ничто не может быть грустнее ровной,

обнаженной, какой-то бурой, болотистой равнины, за которой стояли неприветливые, мрачные леса.

Что может быть угрюмее этих мест зимой! Морозное солнце в туманном желтом кольце, как будто в отчаянии, едва пробившись из черно-синих туч, тускло освещает пустынные рощи, высоченные снежные сугробы, печальные, занесенные снегом болота и через короткие часы скрывается снова, оставляя сумрак непередаваемого цвета.

Вьюга долгими ночами крутит свои белесые кольца, с воем стелясь по замерзшей, звенящей земле.

В январские дни все это лишенное жизни пространство, над которым стояли только остовы сгоревших рабочих поселков и трубы бараков, наполнилось грохотом битвы. Это шли навстречу воинам Волховского фронта защитники Ленинграда, чтобы обняться в радостный час прорыва блокады. Этого часа ждали много месяцев.

Пламя сражения сверкало по всему невскому берегу и в дикой пустыне приволховских лесов.

Если нам, привыкшим к холоду и ледяному мраку, битва в этой черно-белой пустыне казалась делом привычным, то выбитые из теплых укрытий, бросившие блиндажи гитлеровцы чувствовали себя в аду, где мороз жег, как костер преисподней.

В хаосе канонады, вьюги, мрака и пожаров постепенно обрисовывался наш успех. И уже называли имена командиров, чьи части показали свою доблесть. Я хорошо помню великолепного, спокойного, как гранит, Трубачева, чьи полки брали Шлиссельбург; порывистого, бесстрашного Симоняка; уверенного, искушенного в трудностях Хрустицкого.

Уже на фронте родились новые храбрецы: пехотинцы гордились подвигом Дмитрия Молодцова: хотя он был связистом, но шел в передовой цепи и погиб смертью героя, дав возможность захватить немецкую тяжелую батарею; артиллеристы уже знали имя неустрашимого истребителя немецких танков — капитана Родионова. Танкисты говорили мне удовлетворенно: «Правда, замечательно, что Осатюку и Макаренко дали Героев Советского Союза?»

Конечно, замечательно — было за что. Такое богатырство они показали, несмотря на то, что их танк — малютка «Т-60», а вот мал удалец, да дорог! Но и в исхлестанных осколками бомб, мин и снарядов стенах Шлиссельбургской крепости, во

мраке приладожских лесов, на берегу Ладоги и на почерневших снегах вокруг оставшихся только на карте рабочих поселков, среди сумрачного нагрева продолжающегося сражения я все время думал о Георгии Суворове.

Я невольно смотрел туда, на юг, где наступала 45-я гвардейская. Она, как и 268-я, шла в обход 1-го и 2-го городков, и я знал, что ее бешено атакуют немцы со стороны Дубровской электростанции.

Поздно вечером в лесу на безлюдной дороге я попросил шофера остановить машину. Я попросил потому, что не мог приказать ему, так как в машине был товарищ поболее моего званием. Но он был новичком на Ленинградском фронте и не мог разбираться в местности. Поэтому я попросил его разрешения, и, когда он спросил, почему мы остановились, я откровенно сказал:

— Нам надо ориентироваться сейчас, где мы находимся, потом будет поздно!

— Почему? — спросил он без всякого признака волнения.

— Потому,— сказал я,— что, по моим расчетам, мы едем прямо к немцам.

— Тут близко не могут быть немцы,— отвечал мой спутник, но все-таки вышел из машины.

Мы стояли на совершенно пустынной дороге. Отчетливо доносилась стрельба, то пулеметная, то винтовочная.

— Мы проехали реперы, видите? — сказал я.

Сзади нас остались красные лампочки, прикрепленные к деревьям для ночной перестрелки.

— Смотрите,— сказал я,— на дороге нет никаких машинных следов...

Мы огляделись. В стороне от дороги, как белые сугробы, притаились танки. Они стояли в засаде, похожие на занесенные снегом валуны.

По направлению к нам шло несколько человек. Когда они приблизились, то оказалось, что это автоматчики в белых куртках.

— Откуда вы? — спросил мой спутник. При своем чине он мог спрашивать, и ему были обязаны отвечать.

— Мы автоматчики,— сказали они.

— Какого хозяйства?

— Хозяйства Батлука!

— Кто впереди вас?

— Впереди нас нет никого! Впереди нас немцы. Сразу вон за тем поворотом...

Они прошли.

— Вот видите, я был прав,— сказал я,— а вон кто-то еще идет!

Когда этот человек приблизился, я громко его приветствовал. На фронте всякое бывает! Вот уж неожиданная встреча. Это был тот мой знакомый майор, что на стадионе Ленина открыл мне нового поэта во время Дня физкультурника.

— А вы-то что? — спросил я его.

— Я работаю офицером связи сегодня...

— Как дела?

— Где ничего, где не так уж очень,— осторожно ответил он.

— Тут близко Дубровская ГЭС? — спросил я.— Если ехать прямо...

— Так и приедете. Позавчера тут машина проехала прямо туда. Подъезжают к какой-то части. Там саперы работают. А шофер говорит: «Что-то вроде по-немецки говорят». А подъехали так близко, что те за своих приняли. Ну, а как шофер стал поворот делать и они убедились, что это наша машина, по ней такой фейерверк дали, что шофер сразу самообладание потерял и в кювет машину завалил, а их минами покрыли. Ну, часа два по канаве к нам выбирались. Так что не рекомендую их маршрут повторять...

— А там вы были, в Московской Дубровке?

— Был,— сказал он,— вы, конечно, о Родионове знаете...

— Знаю,— отвечал я,— жаль его, молодец был.

Дивизион противотанковых орудий капитана Родионова до тех пор отбивал атаки немецких танков, пока весь дивизион не погиб. Сам капитан Родионов упал на лафет пушки, умирая. Но, умирая, он видел, как рубеж заняли наши, перед которыми громоздились сожженные дивизионом Родионова танки и сотни немецких трупов. Враг не вышел в тыл нашим наступающим.

— А как в сорок пятой, у Краснова?

— Потери большие, как и у соседа — у двести шестьдесят восьмой...

— А Суворова Георгия видели?

Майор оживился.

— Суворова видел своими глазами. Сражается, как лев, вернее, как сибиряк...

— Значит, он жив?

— Совершенно точно, он жив.

— Ура! — сказал я.— Надо же было вам попасться в этом лесу, чтобы сразу узнать самые разные новости...

— Наше дело такое — офицер связи,— отвечал он,— а блокаду-то прорвали, здорово! Знай наших, ленинградских! Ну пока!..

Поздней весной сорок третьего я вернулся с Малой земли, из Приморской оперативной группы. Пришел Георгий Суворов, такой же сдержанный, спокойный, аккуратный, как всегда. Принес новые стихи. Спросил: как там в ПОГе[1], что я видел? Как петергофские дворцы поживают?

— Поживают они плохо,— ответил я,— от них остались одни стены, если где остались. Я ползал в развалинах Английского дворца, потому что ходить во весь рост там нельзя. Все пристреляно. В этом дворце когда-то даже ручки у дверей были фарфоровые, с золотом. На стенах висели гобелены работы русских крепостных мастеров. Цены им не было. Трудились целые семьи долгими годами. Ковры покрывали полы, выложенные из драгоценной цветной мозаики всех сортов дерева; картины, статуи, вазы, трельяжи, посуда, книги — одним словом, богатства, блеск, старина. Так в комнатах этого дворца дрались врукопашную, из комнаты в комнату гремели гранаты, раздирая в лоск, в дым все, что было вокруг. Потом немцы, увидев, что дворец не взять, потому что перед ним длинный глубокий пруд, начали вести систематический обстрел на окончательное разрушение. И теперь вокруг в кустах, в руинах можно подбирать куски бархатных занавесей, клочья гобеленов, обрывки ковров, шелковых драпировок, остатки сожженных книг с золотым обрезом, переплетов, куски статуй, крылышки амура, руки нимфы, кусок головы сатира или философа древности. Золоченые обломки рам вперемешку с ножками стульев и обломками цветного паркета... Словом, хаос, над которым еще стоят стены, которые вот-вот обрушатся. И в этих развалинах сидят наши, и я сам видел снайпера, скрывшего свою винтовку под крылом уцелевшего купидона, зажатого упавшим карнизом. А художники-бойцы пробуют зарисовать все, что осталось от прославленных строений. Я думаю, что в Пушкине, Павловске, Гатчине, Ропше — то же самое. Загремел наш восемнадцатый век

[1] ПОГ — сокращенно: Приморская оперативная группа.

и тартарары... Страшно подумать, что найдем в Новгороде, и Пскове, когда освободим эти города. От Старого Петергофа нет целого дома — груды кирпича... Ораниенбауму пока повезло. Он цел...

— В чем самое ужасное,— сказал Суворов,— ведь фашизм обречен, и это понимают сейчас все, кто с ним борется, это, по-видимому, понимают и сами фашисты. Что им уже не победить — дело ясное. Но сколько еще жертв потребуется, чтобы окончательно свалить Гитлера! Сколько людей погибнет, народного добра, сокровищ культуры. Как-то нелепо это устроено в жизни! Всем ясно, что фашизм хотел уничтожить народы, их историю, культуру, а дали ему волю; ведь ясно теперь, что он не устоит, а потом, глядишь, опять будут его из врага делать союзником наши доброхоты на Западе, которые так легко отдали ему под власть всю Европу...

— Конечно, мы кончим Гитлера,— сказал я.— Это мне было ясно в 1941 году. Я тогда, когда нам было необыкновенно тяжко, написал о гибели фашизма:

Громя врага и мстя, мы твердо знаем:
Она пройдет, смертельная пурга,
Последний залп над Рейном и Дунаем
Сразит насмерть последнего врага!

— А как удивительно,— сказал Георгий Суворов,— что иные защитники Ленинграда никогда не видели города, который защищают! Они поступают на пополнение из глубины страны и прямо попадают в окопы, в леса, в болота, откуда никакого города не видно.

— Для этих защитников города мы в Политуправлении фронта придумали кое-что. Сделали небольшого размера альбом и к нему брошюрку такую маленькую, что можно в кармане свободно носить, как записную книжку...

— А! — воскликнул Суворов.— Так я с этой книжкой тоже по городу ходил. Стоял перед Зимним дворцом, читал надпись на стене, как рабочие, матросы и солдаты брали его в Октябрьскую революцию, стоял на площади, где было Девятое января, где Ленин последний раз выступал в Ленинграде. Я чувствовал, как оживает история прямо передо мной. И немножко это походило на сон...

— Ты напомнил мне рассказ одного командира из ПОГа,— сказал я.— Он старый ленинградец, уроженец города, знал все

пригородные парки наизусть, с детства. И вот в буре этих жутких сражений, когда гитлеровцы наступали как сумасшедшие, не щадя людей, и уже вышли на берег Финского залива, осенью сорок первого этот командир, после смертельно тяжелого дня, вышел к Новому Петергофу и вдруг увидел, что он стоит перед Самсоном, над ним золотится фасад дворца, к морю уходит старый канал, деревья в полной летней форме — и тишина. Весь день так гремело вокруг, такие ревы и громы накатывались на бедного человека, что он оглох, был в каком-то нервном возбуждении, плохо отдавал отчет в происходящем; и вдруг он как заколдованный попал в тихий вечерний парк, где все мирно, тихо, обыкновенно. Он стоял и глотал прохладный воздух. Все как будто замерло, прислушиваясь. Ему тоже показалось все это сном. Он не мог насмотреться на такие знакомые деревья, павильончики над каналом, фонтаны, дворец, аллеи, уходившие в глубине парка. Это длилось, может быть, минут пятнадцать, не больше. И вдруг начал катиться к парку весь грохот внезапно возобновившегося сражения. Но все-таки у этого командира было мгновение, когда ему показалось, что война только сон и что он проснулся снова в тихом парке, где все, как было. Но — увы!

— А будет день,— лукаво сказал Суворов,— и вы скажете: война, как сон, прошла и вот снова мирный, зеленый Петергоф. Честное слово, так будет. Я уверен! И фонтаны будут бить. И Самсон золотой будет стоять, честное слово!

...Дивизия стояла на отдыхе. Георгий Суворов с гордостью говорил:

— Мы в гостях у академика!

Рядом действительно была «столица условных рефлексов», как назвал Колтуши великий Павлов.

Домики «столицы» были целы, но пустынны. Упорно трудилось еще несколько ученых, но молчание забвения охватило некогда густонаселенный поселок.

— Вот получаю письма от сестры — она учительница, живет сейчас в большой глуши, пишет, что в лесу ходить страшновато: медведи встречаются. Без сетки и полога там жить нельзя: комар заедает, мошка. Много дичи, уток, гусей, а охотиться некому. Пишет, что хочет встретиться, поговорить о том, как строить жизнь в будущем... Пишет, что, как только очистится

Енисей, привезут и ним пятьдесят семейств эвакуированных. Школьники готовятся к их приему — огород посадили... Письма ее очень запоздали. А вот последнее — пишет, что лето в полном разгаре, начался сенокос. Уже на кедрах шишки начинают поспевать, а тут их много. Ягоды — смородина, черника, брусника — наливаются. Свежие маслята... Пишет — «только твоими письмами я и живу сейчас. Пиши, как идут твои боевые дела...» А то цветы засохшие прислала: кукушкины сапожки, незабудки, ландыши — пусть дойдут до тебя, пишет, за то, что сибиряки хорошо драться умеют с врагами... Вот какая у меня сестра Тамара... Я люблю цветы. Я в окопах писал про цветы. Вот такие, например, строки:

Цветы, цветы... И там и тут
Они смеются и цветут,
Как кровь пунцовая соколья,
Как память павших здесь, в бою,
За жизнь, за Родину свою,
Они цветут на этом поле...

А какое у нас раздолье и Сибири! Если бы вы были на Енисее, увидели бы, как он хорош, широк, могуч; а наш хрустальный, голубой Абакан!.. Горы какие! Пойдешь по лесам — кедр, пихта, ель, а то лавролистный тополь, ивы в три обхвата, птиц, зверя — полное царство! Поедем после войны на Абакан, вы любите бродить по горам, будем бродить целыми неделями, уйдем дышать и наслаждаться природой. И Олега Корниенко возьмем, он хороший мужик, дружок боевой. Я про него стихи писал. Послушайте:

Мы вышли из большого боя
И в полночь звездную вошли,
Сады шумели нам листвою
И кланялися до земли.
Мы просто братски были рады,
Что вот в моей твоя рука,
Что, многие пройдя преграды,
Ты жив и я живу пока.
И что густые кудри ветел
Опять нам дарят свой привет,
И что еще не раз на свете
Нам в бой идти за этот свет.

И действительно, бой разразился с новой силой там, где над широкой торфяной равниной, пересеченной сотнями канав,

заболоченной, мрачной, возвышаются Синявинские высоты, которые в эту пору походили на вулканы, извергающие огонь и дым. В болоте и на подступах, после страшнейших по упорству боев, длившихся с июля по сентябрь, гвардейцы вышли на высоту, искромсанную по всем направлениям, заваленную обломками оружия и трупами. Одиннадцать немецких пехотных дивизий обескровливались в течение всего лета в этой болотистой пустыне. Но главное для ленинградских гвардейцев было еще впереди...

Снова стояли темные январские дни, но город был полон ожидания чего-то необычайного, что вот-вот должно произойти. Только удивляла погода. Она и в самом деле была странная. Нева никак не могла замерзнуть, и говорили, что лед на заливе не очень-то хорош для пешего хождения: слишком разорван и местами тонок, для буксира плох — слишком плотен там, где фарватер.

И вот из отдельных передававшихся, как секрет, новостей сложилось убеждение, что за Кронштадтом, в отрезанной от города Приморской оперативной группе, ожидается какое-то движение, вернее, оно даже началось, и командиры и солдаты, приехавшие оттуда в Ленинград, спешно возвращались. Но возвращаться было трудно, потому что лед на заливе был ненадежен. Что делать? Но тут же сообщалось на ухо, что особые корабли и самолеты перебросят всех оставшихся, потому что они обязательно должны попасть в свои подразделения.

И на большом фронте перед городом началось заметное шевеление. В один неожиданный вечер ко мне вошел во всем походном снаряжении Георгий Суворов. Он был откровенно радостен, возбужден, праздничен.

— Ну, теперь, — сказал я, приветствуя его, — не надо мне ничего говорить, я вижу, что вы тоже двинулись, и даже могу предвидеть, как ясновидящий, что гвардейцев не обидят и они будут где-нибудь в центре, скажем, у Пулкова, ждать своего часа.

Он засмеялся:

— Вот теперь будет новая тема, чтобы я мог закончить книгу стихов как следует...

Из его стихотворений постепенно собиралась первая книга, которую сначала он хотел назвать «Тропа войны». Было у него такое стихотворение, где говорилось и о Сибири и о войне. Но потом он решил переменить название.

— Надо назвать проще и точнее,— говорил он.— Я солдат. И книгу назову «Слово солдата».

Все собравшиеся у меня в тот вечер были полны ощущения готовящегося. Надо сказать, что за долгие месяцы осады, боев, обстрелов города, бомбежек у нас не было никакого суеверного отношения к приметам или предсказаниям. Никто из моих друзей, в мирное время веривших в карточное гадание, во время войны просто не имел никакого желания узнавать свою судьбу.

Мы хорошо понимали, что мы не бессмертны, что каждый час таит опасность и случайности войны слишком многообразны. Только когда рядом падал товарищ, мы начинали по-другому ощущать себя. А кроме того, для чего говорить о смерти, когда она просто жила рядом с нами?.. Мы уже ничего не боялись, а тем более накануне самого большого удара по врагу. Это не составляло тайны даже для немцев. Они хорошо знали, что по ним ударят, и только не знали точного срока.

Георгий Суворов был так радостен, потому что он ждал этого дня, как праздника. Он забежал ко мне — его дивизия перебазировалась скрытно на ту последнюю позицию, с какой она должна сделать бросок. Я сказал перед расставанием Георгию Суворову:

— Гоша! Почему ты пошел в бронебойщики? Это правда?

— Да,— сказал он,— я командую взводом противотанковых ружей.

— Зачем это?

— Так нужно! — ответил он весело.— Ну, давайте прощаться. При встрече поговорим!

Мы крепко обнялись. Он сказал уже на лестнице:

— Больше нас ничто не остановит. Я это чувствую всем сердцем и могу подтвердить, чем хотите. Я лично буду драться так, что вы обо мне услышите!

...Когда Георгий Суворов смотрел перед решающим рассветом с Пулковской горы на равнину, погруженную во мрак, он хорошо представлял себе, как эта равнина прочерчена пятью линиями траншей, засыпанных снегом, как в сотнях дотов и дзотов сидят дежурные пулеметчики и стрелки и дремлют, не ожидая ничего неожиданного от этой Пулковской высоты, перед которой они живут уже два с лишним года; перед ним как бы

вставали отвесные срезы эскарпов, волчьи ямы, повисшие, отяжелевшие в морозном тумане кольца спирали Бруно. Под раскинутыми во все стороны проволочными заграждениями, на снежных подушках притаились бесчисленные мины, фугасы с секретом, ловушки. Целый мир, созданный для уничтожения тех, кто осмелится вторгнуться в черные владения гитлеровской орды, закопавшейся в ленинградскую землю.

В полевой сумке у него среди стихов и разных записок лежало письмо от знакомой девушки, которая тоже была в армии. Она написала ему, что ждет его в городе. Ей исполнится двадцать лет, и она хочет справить день рождения. Она писала с притворным ужасом, что ему уже двадцать пятый год: подумать только, как много! И еще писала: «Я ожидаю изменений, как и ты, впрочем. Итак, если не будет существенных изменений, о которых сообщу, то жду 29 января». И подпись: «Людмила».

Он усмехнулся: существенные изменения произошли! Сейчас пятнадцатое января, и через несколько часов он бросится со своими бронебойщиками в ту кипень сражения, которая начнется в одиннадцать часов.

До одиннадцати еще было далеко, когда разверзлось море огня и грома. Земля, проволока, накаты блиндажей, лед, снежные бугры, орудия, куски дзотов смешались в черно-серой туче, которая окутала вражеские позиции, и, когда кончилось это извержение вулкана ненависти и истребления, человек с узкими, длинными глазами, со шрамом на подбородке, с чисто выбритым лицом, широколобый, приникший к стереотрубе, увидел множество людей, бежавших по всему пространству туда, где все гудело, и трещало, и ныло, и оседала чудовищная черная туча.

— Хорошо идут гвардейцы! — закричал он.— Вперед, вперед, не задерживайся!

Это был командир корпуса Герой Советского Союза генерал-майор Симоняк, который, конечно, не мог видеть, как в рядах его гвардейцев идет молодой поэт, пришедший с далекого Абакана, из Хакасии, чтобы участвовать в разгроме врага под Ленинградом.

Дальше начинался эпос — то состояние событий, когда сшибаются массы, огромное пространство приходит в движение и только на картах отмечается лихорадочное передвижение стрел, направленных внутрь разгромленного вражеского плацдарма.

Через несколько дней ночью у селения Русско-Высоцкого соединились все пехотные части 30-го гвардейского корпуса. И дальше и дальше по ленинградским дорогам уходили, преследуя отступающего врага, воины-мстители.

Шли дни, и кончался бурный, необыкновенный январь. Уже за Кингисеппом неудержимой лавиной катились полки гвардии, уже стояли на площадях Ленинграда те чудовища, что несли городу смерть и разрушение, тяжелые орудия, по которым теперь лазали ленинградские мальчишки. Уже сотни километров отделяли передний край от города на Неве.

Давно прозвучал торжественный залп ленинградской победы. Берега Невы осветились взлетом тысяч ракет, люди плакали, не скрывая своей радости. Страшные дни осады кончились навсегда.

Шел к концу дымный, метельный февраль. Однажды ко мне в московскую комнату — я жил тогда в Москве, в гостинице,— постучали.

Я не мог не приветствовать горячо моего знакомого майора, того самого, с которым мы вместе были в блокаде, того, который первый показал мне стихи Георгия Суворова.

Я давно ничего не знал о друзьях, так как все они были в походе, в непрерывных сражениях, и теперь я забросал приехавшего вопросами: как жизнь, как дела на фронте, что нового?

Он отвечал точно и весело, потому что дела шли отлично и в Ленинграде все еще переживали радость вражеского разгрома. Трудно даже представить, что можно свободно ходить по улицам, не опасаясь обстрела или бомбежки.

— Вот новые стихи Георгия Суворова,— сказал он, когда я только раскрыл рот, чтобы спросить о нем.

Я взял стихи и прочел их вслух:

Когда-нибудь, уйдя в ночное
С гривастым табуном коней,
Я вспомню время боевое
Бездомной юности моей.
    Вот так же рдели, ночь за ночью
    Кочуя с берегов Невы,
    Костры привалов, словно очи
    В ночи блуждающей совы.
Я вспомню миг, когда впервые,
Как миру светлые дары,
Летучим роем золотые
За Нарву перешли костры.

И мы тогда сказали: слава
Неугасима на века.
Я вспомню эти дни по праву —
С суровостью сибиряка...

— Вот молодец, что вы привезли его стихи! Когда вы видели его последний раз?

Майор слегка нахмурился, припоминая:

— Я видел его десятого или девятого февраля...

— А где он сейчас?

И вдруг мой жизнерадостный друг посерел, он даже стал смотреть в угол. Стоял молча, сжав губы.

— Что же вы не отвечаете?

Он продолжал молчать, но поднял глаза и посмотрел на меня так, что я почувствовал: отвечать нечего! Я понял...

В комнате наступила тишина, подобная той, что испытал знакомый командир однажды в Петергофском парке,— тишина затаившейся беды. Я прервал тишину. Я только спросил:

— Когда?

— Тринадцатого февраля — на переправе через Нарову!

Я невольно взглянул на календарь. Сегодня было двадцать третье — День Красной Армии!..

Мирно цветут рощи, стоят неизменные горы. Где-то шумит тайга. Течет плавно, неся громаду вод, царственная Нева, стремится голубой, хрустальный Абакан. Охотники идут за зверем. Молодые бронзовощекие хакасские парни со смешанной кровью.

На правом берегу Наровы розовый иван-чай и белые ромашки окружают могилу, в которой лежит погибший в бою поэт, гвардии лейтенант, командир взвода противотанковых ружей Георгий Суворов. Ему было только двадцать пять лет.

Я иду по той улице Ленинграда, по которой мы не раз ходили с поэтом. Нет больше разбитых домов, изуродованных стен, нет кроватей, висящих на перебитых балках. Годы войны ушли в прошлое.

Я говорю со своим спутником о днях осады, о друзьях и товарищах, о временах боевого братства. Мы говорим о Георгии Суворове. В его походной сумке обнаружили потрепанные блокноты, сверху донизу исписанные стихами. Книга избранных его стихов вышла в Ленинграде и в Абакане. Она называется так, как он хотел,— «Слово солдата».

Он жил и умер, как поэт, и если поэту даны предчувствия, то он предчувствовал свою гибель, но мрака не было у него на сердце. Вот как он заканчивал стихотворение, написанное на берегу Наровы о Дне Победы:

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время утекло!
В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили, как люди,
И для людей...

В ТЕ ДНИ



ВРАГ У ВОРОТ

В те дни немецко-фашистские орды так близко подошли к Ленинграду, что с крыш высоких домов можно было видеть их позиции. Трамвай шел до проходной Кировского завода, и тут кондукторша говорила: «Вагон дальше не идет. Дальше — фронт!»

Поездам уже некуда было ходить, и все это казалось страшной сказкой: как это нельзя поехать ни в Петергоф, ни в Детское Село, ни в Гатчину — погулять в парках, посидеть на берегу моря, посмотреть знаменитые дворцы!

Пароходы по Неве уже не могли подняться к Шлиссельбургу — там сидели немцы. Молодые ленинградцы, ставшие солдатами, сражались на полянах и в рощах, где они бегали в детстве.

Поднялись ленинградцы на великую борьбу за родной город. Непрерывно по улицам шли войска, новые и новые батальоны вышли в бой. А идти было недалеко — это было самое страшное и необыкновенное.

Там, где стояла мирная Пулковская обсерватория, стреляли батареи, и там, где всегда царила тишина, был непрерывный грохот.

Уходящих воинов провожали их родные. Шли матери и жены, неся на руках детей. Они шли до того куска дороги, за которым дальше уже рвались снаряды.

Одна девушка-санитарка вышла из дому, попрощавшись с матерью и сестрами. Она проехала на трамвае по городу, и город казался ей красивее, чем раньше. А враги где-то очень далеко. Через несколько часов она уже ползла по траве на зов раненого, расстегивая свою санитарную сумку. Тут она услышала хриплые крики и увидела людей не в нашей форме. Это бежали в атаку немцы — прямо на нее.

Девушка сползла в воронку от снаряда и оказалась между нашими и немцами. Наши начали стрелять, и немцы залегли. Они видели, что в воронке девушка, и кричали и издевались. Она тоже стреляла, взяв винтовку у тяжелораненого, которого перевязала. Тогда командир сказал:

— Надо выручить нашу девушку.

Он поднял солдат в контратаку, и немцы были опрокинуты. В этой атаке девушку ранили. Ее отправили в Ленинград, в госпиталь, но к вечеру ей стало лучше, и она пошла домой, чтобы отдохнуть, а утром снова вернуться в бой.

Опять она увидела родной Васильевский остров, Неву и улицы с тенистыми деревьями, дом, где она родилась, и свою мать и сестер. Ей казалось, что она прожила целую жизнь,— а с той минуты, когда она вышла из дому, прошло всего десять часов.

Вот что значило — враг у ворот!

...А по улицам все шли и шли ленинградцы на фронт. Казалось, что город рождает всё новые полки и что такую силу не сломить никакому врагу. Вдруг на улице за Московским вокзалом раздались взрывы. В небе не было самолетов и не было противовоздушной тревоги. Дым рассеялся, и на земле остались воронки. Это были первые воронки от первых немецких снарядов, упавших на город, а тогда все было внове.

Бойцы прощались со своими близкими, и не было у них уныния и отчаяния. Они были уверены в победе. И если бы спросили тогда любого ленинградца, никто бы не мог объяснить, почему немцы не войдут в город, хотя уже подошли так близко, что ближе нельзя, но каждый ленинградец ответил бы, что немцы не войдут, что Ленинград непобедим!

НОЧИ ЛЕНИНГРАДА

В мирные времена никому из ленинградцев не могло бы прийти в голову разгуливать ночью по крышам или просиживать целые часы у трубы, разглядывая небо и город.

Теперь все крыши были обжиты. Тысячи ленинградцев всех возрастов проводили все ночи на крышах. Они приготовили щипцы, для того чтобы хватать ими зажигательные бомбы, багры — чтобы сталкивать их с крыш, асбестовые рукавицы — чтобы не обжечь при этом руки, маски — чтобы искры не попали в глаза. Но тушили и без масок, так как масок не хватало.

Город лежал в такой тишине, что слышно было, как далеко внизу, как в ущелье, едут военные машины. Ни одного огонька не блестело ни в одном окне. Ночь сначала была мирной. Атласные облака плыли над городом, находили тучи, по краям их бегали прожекторные лучи, перекрещивались и клонились к земле. Ветер шумел листвой в парках и садах. Люди на крышах говорили шепотом, как будто их могли услышать летящие на город немецкие налетчики.

Потом эту тишину разрезал унылый, тоскливый, тревожный вой сирен. Выли дома, корабли, дворцы, музеи; казалось, им вторят деревья и ветер присоединяется к сигналу тревоги. Все бежали, скрипя по железу крыш, на свои посты. Приближался рокочущий, со злобными перерывами звук немецких самолетов. Огненные трассы наших зенитных пушек шли вверх, как будто

хотели соткать тонкую хитрую западню, огненную сеть, в которой запутаются немцы.

Немцы бросали светящиеся лампы. Они висели в пространстве, и от них шел мертвенный белый свет, освещавший, как днем, лица людей на крышах. Воя, визжа и захлебываясь, шли вниз фугасные бомбы. Потом раздался глухой удар. Это значит, куда-то попала фугаска.

Взрывы бомб, выстрелы, свет прожекторов, ракеты, рассыпавшиеся разноцветными змеями, гул моторов, разбитые на куски висячие лампы, погасавшие в черных провалах неба, зарево далеких пожаров — вот что видели и слышали люди на крышах.

Комсомолка Варя стояла на крыше и видела, как бомба упала на здание ее завода. Она сейчас же по телефону сказала в штаб, что упала бомба. Вероятно, замедленного действия: взрыва не произошло. Прошло два часа. Тревога продолжалась. Бомбу не нашли. После тревоги в штабе Варе сделали выговор за то, что она плохо смотрит, потому что бомбу на заводе не нашли, как ни искали.

Из бомбоубежища вышли рабочие и работницы и пошли по своим квартирам. Дома были рядом с заводом. Две подруги открыли ключом дверь и, не зажигая света, вошли в свои комнаты. На диване кто-то спал и как-то глухо дышал. Они зажгли спичку и увидели, что на диване лежит огромная стальная туша и в ней что-то позвякивает с хрипом. Это и лежала та бомба замедленного действия, которую видела в полете Варя. Пришли саперы и разрядили ее. А с Вари сняли выговор.

Проходили дни, недели, месяцы, годы, а бомбы все падали и падали на Ленинград. Сирены выли и в метельные ночи и в белые, когда не нужны были прожектора. Зажигалки падали тысячами и горели мерзким брызжущим огнем, освещая бледные и решительные лица тушивших их подростков. Подбитые немецкие самолеты падали и в город и за городом, и к концу осады их было подбито столько, что из них можно было сложить целую гору.

А ленинградцы не уступили немцам ночного неба и очень гордились этим.

ПОСЛЕ НАЛЕТА

Я ехал на машине по улице, в конце которой падали бомбы. Я сказал шоферу, чтобы он свернул вдоль Таврического сада. Он свернул, и тут все в машине осветилось так, что я увидел отдельные пушинки и пылинки на синей материи, которой была обита внутри машина. Машина остановилась.

Мы выскочили из нее. Перед нами феерическими огнями горел Таврический сад. На деревьях висели какие-то желтые, красные, зеленые, синие фонари; они рассыпались на куски, стекали шипящими струями по веткам, шипели внизу на траве. На крыше гаража лились потоки какой-то слепящей жидкости. Все это походило на фейерверк и детский праздник и можно было залюбоваться этим сказочным освещением, но шофер схватил меня за руку и закричал:

— Сейчас будет бомба!

И бомба упала через дорогу от нас. Но она упала прямо в пруд и захлебнулась в тяжелом вековом иле. Воздушной волной нас бросило на землю. Кругом в ближних кварталах падали зажигалки и гремели взрывы.

После каждого налета грустно было смотреть, как развеваются занавески на окнах в комнате, от которой осталась одна стена, как печи стоят прямо на улице, окруженные грудами битого кирпича, как высоко в небе, на высоте шестого этажа, стоит шкап и его открытая дверца болтается в пустоте. На

одной улице два года, как на скале, стоял такой шкап, и в нем висели детская ванночка, старый халат и полотенце. Снег засыпал развалины, майское солнце светило весело в разноцветную пропасть, где когда-то были комнаты, осенний косой дождь хлестал внутрь шкапа, и все так же недостижимо висели ванночка, полотенце и халат.

Деревья с оторванными ветвями протягивали прохожим свои израненные руки, как бы прося защиты. Ноги ступали по разбитым стеклам, как будто мостовая была уложена алмазами. Кровати висели меж искривленных балок, напоминая о том, что здесь было когда-то человеческое жилье.

Много таких разбитых домов в Ленинграде. После налета приходили спасшиеся жильцы и отыскивали в этих бесформенных кучах свои вещи. Как ни странно, но иные вещи сохранялись в целости по капризу случая. Так, столы расплющивались, как картонки, а фарфоровые вазы оставались целыми. Очень грустное зрелище представляли книги, превращенные в труху, осыпанную красной кирпичной пылью.

Особенно мрачно выглядели развалины после налета ночью, когда выходила луна и под луной там, где стоял дом, была гора черного мусора и в нем бегали огоньки тлевшего тряпья и сверкали осколки посуды.

Картины висели на стенах, не имевших ни дверей, ни окон. На улице раз я видел куклу с оторванной рукой. Кукла смотрела удивленными фарфоровыми глазами. Куклу схватила девочка и сказала:

— Мама, мама, мою Ваську убили!

Потом покачала ее на руке, глаза куклы закрылись, и девочка радостно закричала:

— Мама, мама, она только ранена, она заснула!

Люди, приходя с работы, находили пепел там, где было их жилище. Они садились у печей, которые уцелели, и начинали готовить пищу под открытым небом, топя печи разбитыми стульями и столами. Из разрушенных домов они уходили жить в другое место. Иные за время осады сменили несколько раз свои жилища.

ДЗОТ НА КИРОВСКОМ

Священная земля ленинградских площадей и парков! Кто из жителей великого города думал, что ему придется разрыхлять ее киркой, бить в нее ломом, вонзать в нее лопату, чтобы рыть ходы сообщения к дзотам, стоящим прямо на газоне!

Дзот уже был сделан. Толстые бревна выглядели как-то мирно на траве, засыпанной первым снегом. Он был похож на недостроенную избушку, диковинную рядом с выгнутой чугунными узорами решеткой набережной. На него смотрели бастионы Петропавловской крепости, как смотрит дед, видавший виды, на внука-суворовца.

Громадный Кировский мост виднелся на фоне еще бурой зелени далекого сада Инженерного замка, высились величавые стены Мраморного дворца, виднелась Нева, покрытая салом.

И девушки рыли ход сообщения. Рядом шумел Кировский проспект, проходили трамваи, пешеходы останавливались и смотрели молча, не делая никаких замечаний, не отпуская никаких шуток. Пожилой человек в ушанке медленно наступал ногой на лопату. Он смотрел вниз на холодные каменистые комья, как будто хотел прочесть какие-то тайные знаки, которые были написаны маленькими, искривленными, как буквы, корешками и жилками. Или он просто задумался о том страшном, что подступило к городу. Были ли его дочерями эти три девушки что работали ломом, киркой и лопатой вместе с ним? Были ли они люди из одного дома, вовсе чужие друг другу?

Они углубляли ход сообщения, останавливаясь по временам, чтобы вытереть пот и распрямить плечи. Что мог значить их маленький труд — этот узкий и глубокий ров, над которым они трудились с таким старанием? Мог ли явиться крошечный дзот чем-то серьезным в битве, в которой участвовали огромные орудия и огромные танки? Но таких дзотов были тысячи, и, когда девушки отдыхали, они видели, как по улицам идут такие же, похожие на них, ленинградки с лопатами на плечах; они знали, что город превращается в крепость и что каждый дом, каждый перекресток, каждый угол будет сражаться до конца.

Ни одной из них не представлялось до конца ясным, как это немцы пройдут по Кировскому мосту и станут стрелять по крепости, которая сама стреляла только раз в день в прошлые времена, когда пушка отмечала полдень одиноким выстрелом и над бастионом секунду висел похожий на летящую по ветру кисею легкий синеватый дымок.

Девушки знали что они маленькие солдаты, маленькие винтики войны, но что им выпала почетная и трудная задача — стоять в обороне города, работать для победы, и ничего другого, кроме желания скорее выполнить свою задачу, у них не было в голове. Они не жаловались, что им непривычна эта мужская саперная работа, что лом и кирка слишком тяжелы для их юных рук.

Нет, в их лицах, с которых еще не совсем сошел летний загар, было упорство и строгие глаза не улыбались. Слишком печально было думать, что такая красота, что простирается вокруг, будет подвергнута всем случайностям битвы, что вражеские снаряды будут разрушать эти ветхие кирпичные стены, которые видел своими глазами сам Петр, что по этой мирной набережной нельзя будет проходить, а надо будет нырять в этот ход, который укроет бойцов, подносящих в дзот боеприпасы, идущих сменять уставших товарищей!

В ЛУЧАХ ПРОЖЕКТОРОВ

Когда вы шли ночью после только что кончившегося налета, вы видели темные бесформенные горы развалин, вы останавливались, еще не привыкнув к невиданному зрелищу.

По всему разрезу разбитого бомбой дома, сверху вниз и из стороны в сторону, мелькали красные огоньки.

Подойдя ближе, вы видели, что это работают упорные люди, среди которых много молоденьких девушек. Это спасательные команды, отыскивающие заваленных обломками.

Где-то внизу стонет человек, до которого нельзя добраться просто. Каждый шаг в этих развалинах таит опасность. Каждое неверное движение может погубить и спасающего и спасаемого. Вся эта темная махина полна тихими перекличками невидимых работников, полна вздохами, стонами, тяжелым дыханием усталых людей. Как вход в мрачный грот, открывается расщелина, образованная навалившимися друг на друга перекрытиями. И туда, в этот холод и темноту, надо спускаться, обвязавшись веревкой, имея нож, для того чтобы перерезать всякие мешающие по дороге клочья материй и какую-то проволоку, которой всегда много, топор, чтобы прорубиться сквозь нагромождение деревянных обломков, фонарь, чтобы при его слабом свете видеть хоть немного.

Сандружинницы превращаются в альпинистов. Они, как по скалам, подымаются на повиснувшие над бездной уступы,

бывшие когда-то угловыми комнатами. Там лежит на остатках пола раненая, потерявшая сознание девочка. Она жива! Ее берут осторожно, умело, крепко и находят куски лестницы; по ней можно спуститься, как по каменной тропе, разбитой, неровной, качающейся.

Тут надо быть еще осторожней, потому что ступеньки висят над черным провалом. Где-то в проломах стен вспыхивают прожектора — началась новая тревога. Но, освещенные меловым светом, которому благодарны, потому что он освещает дорогу вниз, девушки идут, тяжело дыша, со своей ношей. А там вокруг опять свищут осколки на все лады, завывают и повизгивают, там падают новые бомбы, рушатся новые дома. Там снова жертвы.

На лицо сыплется белая и красная пыль, она залепляет глаза, ноги ушибаются о крупные осколки кирпича, режутся о порванные и согнутые железные перила, которые, как змеи, свисают по сторонам.

Девушки переходят из мрака снова в свет прожекторов. Где-то, как в ущелье, гремит обвал, стена внутри дома провалилась куда-то, увлекая с собой груду кирпичей, железного и деревянного лома. Эхо передает грохот обвала по всему мрачному, разрушенному дому. Подымается стена пыли, над головой открывается небо там, где еще недавно был кусок крыши,— она свалилась во двор, и звезды видны в небе; они холодные и пыльные, точно и туда залетела пыль уничтоженного человеческого жилья.

Но девушки упорно несут спасенную все ниже и ниже. Вот уже встречают их товарищи, принимают от них бесчувственную девочку, кладут на носилки, а сандружинницы идут опять в темноту и холод, прислушиваясь, не раздастся ли стон. Да! Он раздался откуда-то снизу. Вперед, туда!

Так они будут работать до утра, пока, изнеможенные, не сядут тут же отдохнуть после бессонной ночи. А начавшийся день снова застанет их за работой.

ТАК ЖИЛИ В ТЕ ДНИ...

О эти солнечные, яркие, полные морозного хруста, морозного ветра дни первой блокадной зимы! Прелесть садов с ветвями, заваленными снегом, осыпанными сверкающим инеем, как будто природа хотела нарочно подчеркнуть, как великолепна ее зимняя жизнь и как мрачна жизнь осажденного города.

Закат на Неве. Огненный шар солнца уже потух за туманом. На всем лежат мертвые синие тени. Корабли, зимующие на реке, как будто брошены людьми, палубы пустынны. Сугробы снега лежат на набережной — на ней нет ни души.

Редкая цепочка людей идет через реку медленно-медленно, как будто они боятся сделать быстрый шаг. Они не могут его сделать. Они бредут, как призраки, закутавшись до глаз. Вьюга заметает их следы.

В городе нет хлеба, нет топлива, нет света, нет воды. Сюда, к Неве, к полынье у каменного спуска, идут за водой женщины и дети.

Они похожи на эскимосов, так тяжелы их одежды. Они надели на себя все теплые вещи, и им все-таки холодно, нестерпимо холодно, потому что они ослабели от голода.

Но они идут за водой, чтобы принести ее домой, в свои темные квартиры, где на стенах атласный иней и сквозь разбитые окна в комнаты наметен снег. Ледок хрустит в пустых кухнях.

Женщины и дети ставят на санки ведра, бидоны, чайники, детские ванночки, жестяные большие коробки, котелки, кастрюли — все годится, во все можно налить воду, такую ледяную, что страшно к ней притронуться.

Сил нет спуститься сразу к реке по скользким ступеням, на которые непрерывно выплескивается вода из рук усталых и слабых водонош. Вода эта сразу замерзает слоями один на другом, неровными, толстыми, скользкими. Мученье — только спуститься по такой лестнице. А надо еще поднять наверх тяжелое ведро, которое оттягивает руки, надо поставить его на сани и сани притащить домой, а дом — у Исаакиевского собора, а то и еще дальше.

Девочки, жалея матерей, спускаются с чайниками, цепляясь за промерзшие каменные стенки, набирают воду, поднимаются и льют из чайников воду в ведра. Сколько раз надо спуститься с чайником, тащить его обеими руками, возвращаясь, потому что он очень тяжел, этот неуклюжий чайник!

Снежные наросты от пролитой воды появляются на одежде. Ветер превращает их в лед. Пар идет изо рта. Люди дышат широко раскрытыми ртами. То, что было веселой забавой в иные времена, теперь стало адски трудным делом.

Вода! Вы открываете кран, и льется белая струя, льется без конца. Вы открываете краны горячий и холодный, и ванна наполняется голубоватым сумраком, который пьянит вас теплотой. И так приятен после ванны крепкий горячий чай с вареньем!

Это так просто — если засорился кран, вы звоните, и к вам приходит водопроводчик, молодец шутливый, высокий, ловкий. Он вмиг исправит ваши краны и трубы.

И вот ничего этого нет... Умерли все краны, все трубы мертвы. Враг окружил город блокадой, враг хочет уморить ленинградцев голодом, заставить их роптать.

Но каждый день целые процессии шли по городу за водой, жуткие, длинные,— это шли непобедимые ленинградцы, которых ничто не могло сломить.

ПУТЬ В СТАЦИОНАР

На пустынной набережной я увидел лошадь, которая кланялась Петропавловской крепости. Она так аккуратно кланялась, что я пошел к ней, чтобы посмотреть, в чем дело.

Лошадь была такая тощая, что кожа на ней была почти прозрачная. Она была запряжена в сани. Возница куда-то ушел. Там, где он ее оставил, было набросано на снегу немного сена, совсем немного.

Лошадь видела эти клочки пожелтевшего холодного сена. Она не могла нагнуться и взять их. Она набиралась сил, становилась на колени, одним резким движением хватала травинки и, встав, жевала их долго-долго. Потом она набиралась снова сил, снова становилась на колени и снова хватала сено большими дрожащими губами, сморщив морду. Потом она стояла отдыхая, тяжело дышала, качаясь на несуразно длинных и тонких ногах.

В те дни я видел людей с красными кругами на белых щеках. Я видел людей, у которых по лицу шли зеленоватые полоски, как в тетради для арифметики. Я видел людей, у которых сквозили кости черепа сквозь тонкую кожу.

Люди от голода слабели и умирали, и тогда в городе появилось новое слово: стационар. Так называлось место, куда привозили и приводили самых истощенных людей. Там их клали на чистые постели, в теплых комнатах, кормили под наблюдением врачей и давали им разные укрепляющие витамины.

Человек, который чувствовал, что он слабеет, не должен был терять душевной силы. Если он терял эту душевную силу, его было труднее вернуть к жизни.

Тогда, в те дни, на улицах уже нельзя было увидеть никакого транспорта. Редко-редко проходили военные грузовики, нагруженные снарядами, или автобусы, перевозившие раненых. Трамваи, автобусы и троллейбусы, занесенные до крыш снегом, со стеклами, на которых была толстая наледь, стояли и не могли никуда уйти, потому что не было горючего. Поэтому больных возили в стационар на санках их родные или друзья. Есть в Ленинграде такая Кленовая улица. На ней почти нет домов. В одном конце возвышается большой дом военного ведомства, в другом — красный Инженерный замок, похожий на крепость.

По этой улице маленькая, закутанная в три платка женщина, спотыкаясь в глубоком снегу, везла на детских саночках изможденного мужчину. Трудно было сказать, сколько ему лет, потому что он давно не брился и весь зарос колючей, мертвенно-синей щетиной. Он сидел на саночках, закрыв глаза, и через каждые три шага падал навзничь. Женщина освобождалась от веревок, за которые она тащила сани, подходила к нему, приподнимала его, и он снова сидел, страшный как кощей, с закрытыми глазами. И снова он падал, когда женщина успевала сделать вперед несколько шагов. Прохожие молча смотрели на эту сцену и шли дальше.

Наконец, когда он упал в десятый раз, женщина остановилась и впервые беспомощно посмотрела вокруг. Тогда с тротуара сошла высокая костистая женщина с упрямым выражением глубоких синих глаз, подошла к упавшему, подняла его резко, посадила и громко три раза прокричала ему в ухо:

— Гражданин, сидеть или смерть! Сидеть или смерть! Сидеть или смерть!

Он открыл глаза, заморгал и уселся. Больше он не падал. Пока не скрылись сани, увозившие его в стационар, он все сидел, прямой как палка.

ВЕСНА

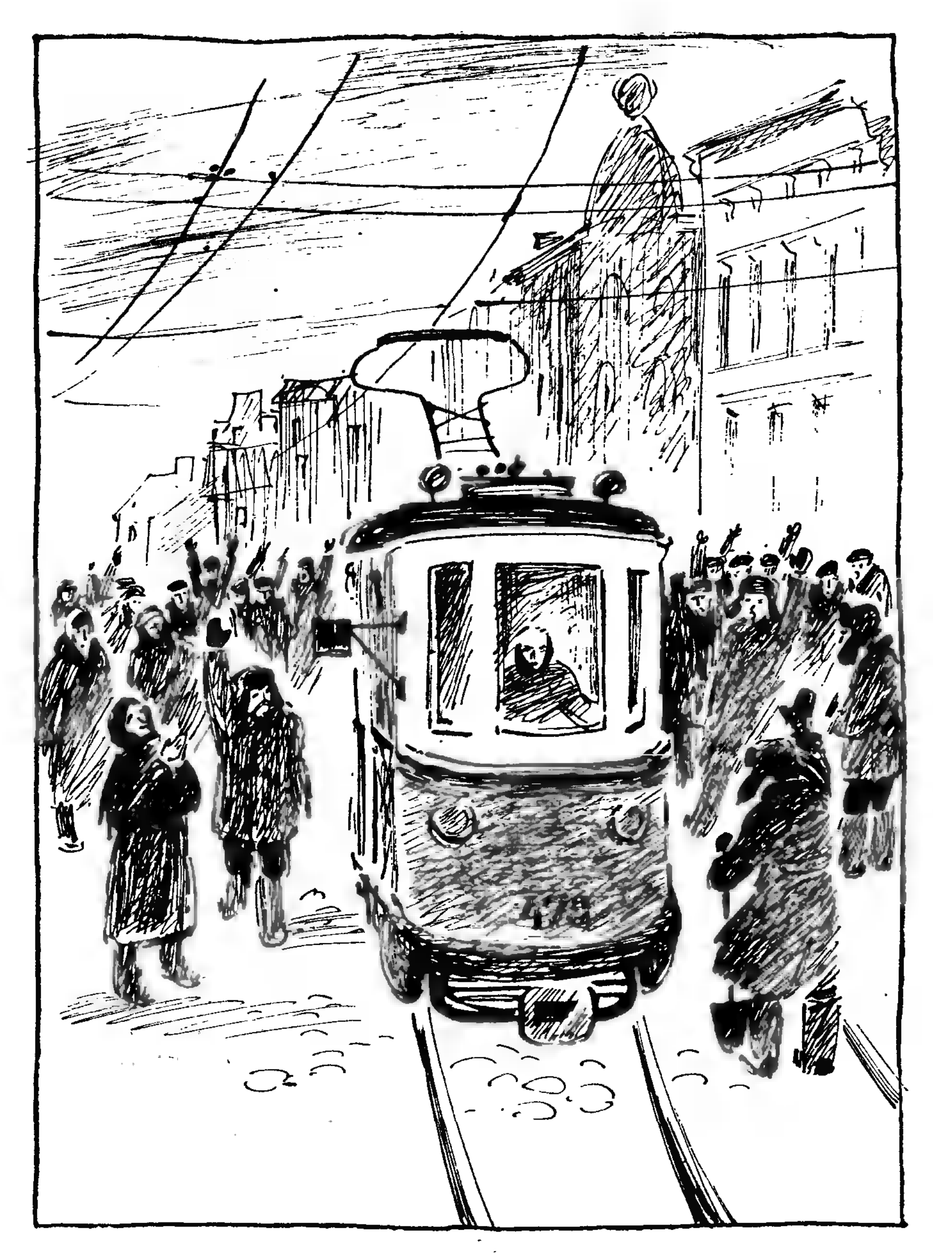
Раньше в Ленинграде говорили, смеясь, в марте: вот дворники весну делают. И правда, выходили дворники в белых передниках, с метлами и лопатами, счищали с панели снег, кололи лед на дворе и у дома, собирали снег в кучи и топили его снеготаялками.

Раньше «снег» и «лед» были какими-то легкими словами, радостными, красивыми. «Бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз» — так писал Пушкин о невской зиме.

А теперь пришел март, и город оказался в ледяной и снежной блокаде. До второго этажа достигали сугробы, снег забился в подвалы, лед лежал на улицах толстый, как броня. Ветер нес снежную пыль, и облака ее кружили по улицам. Теперь лед и снег были врагами, которых нужно было одолеть во что бы то ни стало.

А снега были целые бастионы, ледяные окопы окаймляли улицы, и казалось, никакое солнце не растопит их. А если они начнут таять, то город будет затоплен потоками грязной, мутной воды и улицы его превратятся в ущелья, по которым будут катиться шумные реки. В город придет эпидемия, и ко всем мучениям осады прибавятся заразные болезни, лихорадки, простуды.

И тогда на очистку города вышли все ленинградцы. Сначала казалось, что не хватит рук, не хватит сил, чтобы истребить это



снежное царство. Голова кружилась от слабости, ноги подкашивались, рукам было невмоготу поднимать тяжелые деревянные лопаты, полные снега. Но постепенно под весенним теплым ветерком, под солнечными мартовскими лучами чуть окрасились щеки, люди ожили, даже шутки появились кое-где. Молодой смех нет-нет да прорвется у девчат в зеленых ватниках, с противогазами через плечо. Дело пошло.

Если взглянуть вдоль широких и прямых ленинградских улиц, то увидишь, как чернеет непрерывная толпа на километры и дружная кипит работа. Кто возит снег на санках и железных ящиках, кто сваливает снег на грузовики, кто сгребает его с грузовиков в каналы и в Неву. Растут холмы снега над еще замерзшими каналами, и уже показалась мостовая, показались тротуарные плиты. Еще быстрее заработали ленинградцы. День за днем с утра до вечера длилась битва с зимой. Зиму выгоняли с чердаков, из подвалов, из-под ворот. Скоро только в развалинах лежал, как на скалах, снег, а вокруг уже серели камни, торцы и асфальт.

Это работали не гиганты, а самые обыкновенные люди, и лица их хранили следы пережитой небывалой зимы. Запавшие глаза с острым блеском, выдавшиеся скулы, морщины на лицах самых молодых. Дети, похожие на взрослых, серьезные, без смеха, с туманными, задумчивыми глазами; тонкорукие, с восковыми пальцами женщины, отдыхавшие после двух-трех ударов лома; мужчины со свинцовой кожей, похожие на полярников после необычной зимовки,— все смешались в этих толпах. Чистили и дома. В свете весеннего утра квартиры были мрачные, со стенами, потрескавшимися от сырости, закопченными от дыма печек-времянок.

И вдруг по расчищенному Невскому проспекту пошел первый вагон трамвая. Люди бросили работы, смотрели, как дети на игрушку, на бежавший по рельсам вагон, и вдруг раздались аплодисменты десятков тысяч. Это ленинградцы овацией встречали первый воскресший вагон. А вожатая вела вагон и стряхивала слезы, которые набегали на глаза. Но это были слезы радости, и она вела вагон и плакала и не скрывала этих слез.

В ТЫЛУ ВРАГА

В залах пушкинских дворцов сидели немцы. Они выламывали мозаики из стен и потолка, упаковывали и увозили в Германию. Немцы сидели в теплых блиндажах, построенных из деревьев, вырубленных в дворцовых парках, играли в карты, пили спирт и ругали русскую землю. Они пели песни, что они ничего не боятся на свете.

Но они на самом деле боялись многого: они боялись русской артиллерии, русских танков, русского штыка и русских дорог.

Дороги уходили на юг и на запад от Ленинграда. Ходили немецкие патрули, на перекрестках стояли часовые, всюду были указатели со стрелкой, направленной на Ленинград. И вот этих дорог боялись немцы, потому что там царили партизаны.

Партизаны снимали бесшумно часовых, закладывали мины, и немецкие машины летели на воздух.

Они минировали мосты, и поезда с разбегу падали в реку, а вагоны взбегали один на другой, и ничего нельзя было разобрать в этой груде искривленного металла.

А по снежным полям скользили легкие тени народных мстителей. Они не боялись ни зимы, которая была своей, родной зимой, ни немцев — чужих, страшных, звероподобных мучителей, которые сжигали деревни и вместе с избами сжигали женщин и детей. И немцам не было пощады. Народная война шла по всей Ленинградской области, как пожар, который нельзя остановить.

Когда партизаны узнали, какие бедствия переносят ленинградцы, как голодают в осаде, они начали делать сбор продуктов по деревням и колхозам и собрали много. Трудно было доставить в Ленинград эти продукты через немецкие тылы, через линию фронта. И однако, партизаны достигли цели.

Продукты грузились на сани, и составлялись отдельные обозы, которые приходили в деревни обычно к вечеру, останавливались, и лошади, сани и люди исчезали, как под землю, и на рассвете уходили в тумане дальше. Их сменял следующий обоз.

Так шли обозы день за днем по территории, занятой немцами, которые и не подозревали, что такое множество саней у них под носом движется к Ленинграду.

Все было так хорошо рассчитано, что ни один предатель не смог донести о том, что происходит. Самое трудное было перейти линию фронта. Но тут выручили болота. Они замерзли и хорошо держали тяжесть лошадей и саней. Русские люди знали свои места наизусть, им не нужны были проводники, и мороз, заставлявший немцев кутаться в драные шинели и ворованное тряпье, не мог пробиться сквозь хорошие полушубки, испугать привычных к холоду крестьян.

Обоз пришел в Ленинград и был встречен восторженно. Партизаны увидели, как борются ленинградцы, как непоколебимо их мужество, как поражают они врага на подступах к городу Ленина.

Партизан принял сам товарищ Жданов, бессменный руководитель обороны Ленинграда, и говорил с ними об их боевых подвигах и о тактике их борьбы; он дал партизанам много советов, и они уехали обратно, чтобы рассказать у себя, в партизанском крае, что немцы будут сломлены, что Ленинград будет освобожден. Надо только непрерывно вести борьбу и наносить врагу удар за ударом. Они принесли с собой великую благодарность ленинградцев своим братьям-партизанам.

ТАМ, ГДЕ БЫЛИ ЦВЕТЫ

Всюду в городе, где был клочок свободной земли, выросли огороды. На иной такой огородик хоть любуйся, хоть плачь. Любуйся, с каким прилежанием люди создавали крошечные грядки, и хоть плачь — от мысли, какая горькая необходимость заставила людей это сделать.

Часто я ходил мимо одного такого огородика. Был он огорожен аккуратно железными кроватями, взятыми из соседнего, разбитого бомбой дома. Работали в нем старушка, девочка и приходила еще помощница, девушка в военном, может, из МПВО или из сандружинниц. Воду носили с Невы.

И когда старушка распрямляла плечи, после того как она полола сорняки, она смотрела по сторонам и, наверно, удивлялась, что всю жизнь прожила тут, на Мытнинской набережной, и такое видела впервые.

Там, где кругло выступал Васильевский остров, за давно не подстригавшимися деревьями, видела она блиндажи, как на переднем крае, у блиндажей — пушки, задранные к небу, отколотые бомбой граниты набережной. И по газонам в садике ходили часовые. Старушка смотрела в другую сторону и видела черные, обожженные пожаром развалины домов.

Место здесь открытое и во время отражения воздушных атак небезопасное. Кругом свирепо падали осколки зенитных снарядов. А во время артиллерийских обстрелов тут и совсем бывало

страшновато. Спрятаться некуда, снаряды частенько поднимали тут свои черные фонтаны, и каждый раз после такого случая я с некоторой тревогой подходил к этому месту: и вдруг уже огород пуст и старушка моя где-нибудь в больнице? Но когда я видел эту согнувшуюся на своем огороде бабушку, всегда опрятно одетую, с темным платком на голове, мне становилось как-то радостно и за ее труд, и за ее уверенность в жизни и бодрость.

Осенью, когда уже огородники собирали плоды трудов своих, я после долгого промежутка снова увидел знакомую старушку и разговорился с ней. Загорелая, ловкая, она маленькими морщинистыми руками срезала кочаны капусты.

— Смотрите,— развернула она листья одного кочана,— капуста-то моя с начинкой!

Она улыбнулась и вынула из-под листьев безобразный осколок кирпично-черного цвета, вонзившийся в капусту.

— Боевая у вас, гражданка, капуста,— сказал я.

— Под огнем растила, батюшка,— ответила старушка.— Моя капуста войну видела. Под огнем поливала, щи вкуснее будут. А сколько тут снарядов падало, и не сосчитать! Другой раз лежишь головой в грядках, а они, осколки-то эти, свистят, как будто все в тебя норовят. Жарко тут бывало, вон и дома подтвердят...

Я взглянул на дома и тут впервые увидел, в каком они виде. Как-то я раньше не обращал внимания. Все стены были иссечены осколками, крыши пробиты, кронштейны подъездов валялись, скрученные взрывом, перед домами. Кирпич точно истекал розовой кровью, столько было у него рассеченных ран.

— Что же вы такое место выбрали?

— Да какое выберешь? У нас тут вокруг все одинаковы. Я так думаю: мой осколок меня найдет. Значит, все это были не мои — жива осталась. Ведь не вечно немец стрелять будет.

— Скоро ему конец, не за горами,— сказал я.

— Ну вот, и я так думаю. А когда здесь снова цветы будут, я буду приходить сюда отдыхать и вспоминать. Есть что вспомнить...

НАШИ ДОНОРЫ

Этот дом особенный. В нем всегда полно людей, и все в халатах. Тут и старые, и молодые, и много девушек. Но это не больница и не военный госпиталь. Сюда приходят давать свою кровь для фронта, для раненых бойцов.

Те, что дают свою кровь, называются донорами. Раненых много, и крови надо много. Это особая жертва, и жертва благородная — своей кровью спасти жизнь защитника Ленинграда. Кровь отправляют на фронт в особой упаковке.

Если войти в подвал этого дома в зимний вечер, то можно увидеть поразительную картину. Новый человек не догадается, что происходит. В низком, широком зале стоят высокие столы, на которых лежат люди, закрытые белыми простынями. Над ними склоняются другие, с блестящими металлическими инструментами в руках. Полное молчание царствует в этом зале. Только сверху доносится какой-то глухой грохот. Весь зал освещен фонарями, стоящими на полу и висящими на стене.

Похоже, что вы в каком-то египетском храме и что тут происходит какой-то таинственный обряд. Все в белом, и тени бегают по стенам. Окон нет, фонари горят зловещим желтым светом, и вздрагивают стекла фонарей от гула, долетающего с улицы. Там падают бомбы. Но и во время воздушного налета продолжают работу доктора. Доноры сменяют друг друга на высоких столах и бесшумно идут наверх.

А потом по ночному городу пройдут темные грузовики, везущие кровь на фронт. У них долгий путь по ночным дорогам среди перелесков и холмов. Но вот они достигают медсанбата, а там их ждут давно.

Лежит раненый разведчик, только что доставленный из-под огня. Он полз по снегу, был ранен миной и потерял много крови. Его посиневшее лицо с закрытыми глазами кажется мертвым. Руки неподвижно свесились. Ему делают вливание свежей крови. Проходит несколько часов. Шевельнулась рука, дернулся рот, открылись глаза. У него был шок. Он смотрит вокруг и ничего не понимает. Он не помнит, как попал в эту комнату, где такие странные запахи и люди в белом.

Он просит:

— Пить... пить...

У него лихорадочно блестят глаза. Постепенно он приходит в себя, узнает, что у него за ранение, как его спасла донорская кровь. Тогда он спрашивает:

— Чья это кровь? Я хочу знать.

На этот вопрос можно ответить, потому что на каждой склянке написано имя донора.

Проходит еще несколько недель, и в комнате МПВО вызывают Варю Петрову. Она выходит и видит незнакомого военного, который говорит ей, улыбаясь:

— Вы Варя Петрова?

— Да. А что? Я вас не знаю.

— Вы меня не знаете, а я вам обязан жизнью. Разрешите познакомиться и пожать вам от всего сердца руку. Я разведчик Николай Петров. Мы, выходит, однофамильцы. А теперь вроде как брат и сестра. Не мог я идти обратно в часть, вас не отыскав.

Смущенная Варя стоит и радуется, и слезы набегают на глаза. Она спасла этого храброго разведчика! У него и орден и медаль. И она стоит, не зная, что сказать.

— Будем знакомы,— говорит Николай Петров.— Пишите мне на фронт, может, и я вам чем-нибудь буду полезен. Я у вас в вечном долгу...

ПИСЬМО

Первой страшной осадной зимой письма в Ленинград приходили редко. Хоть жди письма, хоть не жди, все равно трудно получить. Только по воздуху, в самолетах, шли письма. Да и в самом городе почта не работала. Только весной, когда в помещениях стало теплей, когда немного отдышались от зимних бедствий, вы могли прийти в ваше почтовое отделение посмотреть, нет ли вам писем.

— А вот подите и сами посмотрите, есть или нет вам письма,— говорила бледная-бледная, худая-худая девушка, закутанная до глаз.

В углу были сложены груды писем, не разобранные потому, что некому их было разбирать.

Вы шли и терпеливо просматривали конверты всех цветов и размеров и вдруг видели свое имя и свой адрес. Это было так хорошо, что вы не удивлялись странности такой почты.

Целые бригады молодежи пришли тогда на Главный почтамт помочь разобраться в накопившейся переписке. Скоро почта стала работать нормально. Опять по лестницам начали подниматься письмоносцы, отдыхая на каждой площадке, опускать в почтовые ящики почту.

Письмо! Это слово звучало в те дни совсем по-новому. И новая была почта, не похожая ни на какую другую. Почта времен ленинградской осады.



— Бабушка! Письмо! — кричали дети, слыша шаги письмоносца, и бросались со всех ног к ящику для писем.

Оттуда вылезал маленький, сложенный парусом кусок бумаги. Это писал папа с фронта.

Папа жив! Папа пишет! Это письмо читалось по многу раз, перечитывалось всей семьей. И всей семьей писался ответ.

Не было в письмах того времени всего того, что писалось в мирные времена. Никто не поздравлял с днем рождения или именин, не писали просто так — я живу так-то, а вы как? Не писали о том, как гуляли летом где-нибудь на курортах, не звали в гости.

Нет, письма были суровые — с фронтов, из партизанского тыла. Письма были от тех, кто уехал в эвакуацию. От тех, кто работал в глубоком тылу на ленинградских заводах, завезенных на Урал и еще дальше. Искали в письмах пропавших родных и знакомых. С тревогой спрашивали, как жизнь в Ленинграде, сообщали мрачные вести о погибших на фронте, об убитых немецкими палачами.

Все уехавшие в тыл грустили по Ленинграду, писали, как им тяжело без родного города, как им трудно без любимой Невы, без родных, которые защищают город день и ночь в смертельной опасности.

Потом письма, как и люди, повеселели. А когда мы прорвали блокаду Ленинграда, многие в письмах стали проситься обратно в город. Готовы были своими руками исправлять все нанесенные немцами городу повреждения. Писали о том, каким замечательным, каким красивым сделается Ленинград после того, как немцев прогонят совсем.

Письмоносцы знали своих постоянных получателей писем. Они знали, в какой квартире кто на фронте. И когда появлялись, то не бросали в ящик, а сами стучали, и, когда им открывали дверь, они торжественно говорили:

— Ну, вот и дождались. Вам письмо!

Бывало, что тут же, при почтальоне, читалось хорошее известие и все радовались общей радостью. Чувство коллектива было очень сильно в ленинградцах. Стали они как бы породнившимися в осаде, и это чувство укрепляло силы людей и давало им мужество и бодрость.

ДРУГОЙ СНЕГ

Снова наступила зима. И снова улицы завалил глубокий снег. Но это был уже другой снег. Он не наводил тоски на душу, да и убирали его уже обыкновенным способом — не все ленинградцы скопом, а дружинницы.

Если не было обстрела, на Фонтанке у Летнего сада в час зимнего заката было чудесно. На всем лежал тихий сумрак. Слышно было, как скрипит снег под ногой одинокого пешехода. Сквозь порозовевшие от заката деревья Летнего сада виден дворец Петра — маленький, облепленный снегом. И ставни, которыми наглухо закрыты его окна, тоже белые. Только взрывной волной раскрыло один ставень, и он с внутренней стороны оказался ярко-красным. И это ярко-красное пятно в синеватом тумане тревожно напоминает, что город в осаде, что здания его ранены и что это затишье перед бурей.

Вдали, в глубине Фонтанки, встают красно-малиновые перья заката. Обволоченный дрожащим туманом тяжелый красный шар солнца точно остановлен и поставлен на гранитный пьедестал, так он неподвижен. Наплывая, его закрывает сизый дым, но снова он пробивает свой красный луч, и луч скользит по белому полю Невы, уходит в розовые тени и исчезает постепенно в голубых тенях дальнего берега.

Отсюда, с мостика через Фонтанку, город кажется погруженным в полусон. Ни в одном окне нет огня. Пустынны набережные. Ветер гоняет снежную пыль по занесенным дорожкам

Летнего сада. А в земле спят, глубоко зарытые от бомб и снарядов, статуи, которые всегда стояли на дорожках сада. Летом над ними шелестит трава, зимой их покрывает снег, и они спят, и им снятся весенние яркие дни, солнечные аллеи и множество веселых ленинградцев, гуляющих беззаботно с цветами в руках.

Такой Летний сад снится и тем девушкам-дружинницам, что со скребками и лопатами убирают снег на мосту через Фонтанку. Их лица озабоченны. Каждая из них думает о своем. Но это уже не изможденные от голода ленинградки. Их щеки горят от мороза, снежинки тают на их волосах, глаза горят огнем молодости.

Они тепло одеты в ватники и в ватные штаны. У них теплые варежки и темные береты. Им бы лыжи, и они махнули бы прямо на спуск к Фонтанке, примерились бы, крикнули и помчались бы к широкой Неве, оставляя длинный рельсовый след на нетронутом снегу.

Но сейчас не до забав. Сейчас надо чистить снег, потому что некому его чистить, а в городе должен быть порядок.

Но когда они прерывают работу, облокачиваются на лопаты и скребки и смотрят на закат, они чувствуют своим молодым сердцем, как прекрасен город в этих сизых, дымчатых облаках тумана, светящегося изнутри последними осколками уходящего пурпурового солнца.

Они вспоминают недавние времена, когда они дружной стайкой бегали по этой набережной со школьными портфельчиками и никому из них не приходило в голову, что им придется убирать снег именно здесь в суровые дни осады.

Но вот показывается грузовик с красноармейцами. Молодые, веселые лица сверкают навстречу девушкам. Озорные голоса окликают их. И вмиг задумчивость сбегает с лиц девушек, и они шутливо перекрикиваются с бойцами, кидают в них снежки и смеются.

Грузовик проехал, снег убран, солнце закатилось. Идет ночь, длинная осадная ночь. Город уходит во тьму. Тишину прорезает унылый железный хрип. Первый снаряд разрывается за садом. Начался обстрел. Конец тишине.

БОЙ В ГОРОДЕ

Да, это город-фронт. Посреди города лежит площадь Жертв Революции. Раньше она называлась Марсовым полем. Бог войны — артиллерия сегодня гремит над этой площадью, и длинные языки пламени рвутся к сумеречному небу. Клубы дыма встают по сторонам. Ветки, сорванные взрывами, усыпают мостовую. Воздух рвется на куски. Самые разные грохоты гуляют в небе и на земле. Это налет.

Постылый лязг немецких самолетов над самым полем. Пикируя, немец хочет попасть в зенитную батарею. Бомба падает в стороне. Огромный столб дыма заволакивает Летний сад. Свист и рев, лязг и визг.

Но девушки-зенитчицы ловят на прицел воздушного бандита. Им не до страха. Они потом будут волноваться и переживать. Сейчас они ушли в свою трудную работу. Они забывали про шутки и про друзей, про все. Они — бойцы, защищающие свой родной город.

Вот он снова идет, бомбардировщик с черными крестами. Они слышат надтреснутый лязг его мотора, они засекают его курс. Он кружит над Невой и сейчас снова будет пикировать на их батарею.

Но разрывы зенитных снарядов пресекают путь немцу. Вот скользнул легкий огонек, черный дым вырвался из-под хвоста, немец скользит на крыло и уходит за дома. Он не упадет

в городе. У него еще большая скорость, и он вытянет из города, но рухнет где-нибудь в поле, в лесу. К себе ему не вернуться. С ним все кончено. Потом найдут его наши бойцы и увидят, как огонь долизывает остатки крыльев.

Идет другой самолет. Немцы сегодня упорны. Этот вертится над районом, как бы ища минуту, когда будет перерыв стрельбы. Но орудия продолжают выбрасывать языки огня, глаза болят от напряжения. Голос девушки, выкрикивающей цифры, охрип, глаза ее сузились, стали маленькими черными горящими полосками. В шинели жарко. Каска давит на голову своей неуклюжей тяжестью. Скорей бы он бросил бомбу! Чего он медлит?

Время перестало существовать. Кажется, что бой продолжается уже целый день. За Невой вспыхнули пожары. Вокруг шипенье и свист осколков. Откуда-то принесло дым, низко стелющийся по земле. Немец совсем рядом. Кажется, что он врежется в орудия.

Что-то приближается, захлебываясь, ввинчиваясь в воздух. Сердце стучит. Какая-то немота овладевает телом. Будто нет ни рук, ни ног. Грохнуло невдалеке. Бомба. Что-то раскололось там, где был белый дом, старый дом за углом на Мойке. Кажется, там. Да, оттуда появляется коричневый дым.

И снова бьет батарея, и снова хрипло раздается голос, называющий цифры прицела. Неужели это в центре города? Да, вон видна статуя римского воина с мечом, памятник Суворову, вон изогнулся Кировский мост. Вон начало улицы Халтурина — в все-таки это поле битвы.

Враг ушел. Прерывисто доносится сигнал отбоя. Но каждый час враг может вернуться. Надо быть начеку. Месяц, год... Пошел уже второй год. Батарея на площади всегда в боевой готовности, всегда начеку. Пройдут годы, и молодая женщина скажет своему маленькому сыну, играющему у скамейки: «А знаешь, сынок, ты спрашивал, где я воевала? Вот здесь я воевала». И маленький мальчишка оглянется с недоумением на дорожки, посыпанные песком, на клумбы с цветами и скажет разочарованно: «Здесь?» — «Да, здесь. Запомни это место, сынок. Здесь твоя мама защищала Ленинград».

В ЧАСЫ ЗАТИШЬЯ

И вот наступают часы затишья. Огромная площадь становится мирной, как деревенская лужайка зимой.

Идет сероватый дымок из блиндажных труб. Блиндажи, заваленные снегом, никак не похожи на военные сооружения. Они очень мирные, напоминают домашние погреба, в которых почему-то живут девушки в военном. Даже зенитки, раскрашенные, как зебры, имеют вид игрушечный и добрый.

Девушка несет таз с бельем, светящимся особой белизной, — оно белее снега. Девушка в одной гимнастерке, и на груди у нее медаль. Она подпоясана черным ремнем, и на ногах у нее высокие сапоги.

И все-таки она развешивает свои рубашки и кофточки на веревке между кустами, как самая внимательная хозяйка.

И белье на веревке рядом с блиндажами и пушкой говорит о другой жизни, когда на этой площади не висела доска с загадочными для пешеходов цифрами «1—91», когда девушки не развешивали свое белье среди города и никто не мог рыть окопы рядом со зданием «Электротока».

Я смотрю на преображенную площадь и вспоминаю, что́ за свою жизнь я видел на этом месте, где стоит девушка.

В детстве я видел на этом месте парады гвардии. Как оловянные солдатики, пестро раскрашенные, скакали расшитые золотом гусары, уланы в черных киверах, конные егеря, драгуны,



красные и синие казаки, великаны-конногвардейцы и кавалергарды с орлами на сверкающих касках.

Это было всегда в мае.

Потом здесь выстроили длинный барак, такой большой, что в нем можно было заблудиться. Это был первый в городе кинотеатр «Гигант», и я сидел перед экраном и смотрел, как на меня мчались автомобили выше двухэтажного дома.

Рядом с кинотеатром стоял маленький павильон, и в нем можно было видеть в длинную трубу звезды и луну, видеть днем — это походило на сказку!

Потом я помню на этой площади множество народа и десятки красных гробов. Это были похороны жертв Февральской революции. Над их могилой встали плиты неоконченного памятника.

В 1919 году в скверный осенний день здесь начали рыть траншеи, ожидая боя на улицах, если ворвется Юденич. И маленький человечек, архитектор памятника, не позволил рыть ход сообщения, чтобы не повредить памятник. Он говорил: «Отведите ход в сторону. Враги сгниют, а этот памятник останется навсегда. Враг не будет здесь...»

...И вот сегодня все поле превратилось в позицию. На этой позиции живут, как на любом пункте фронта. Девушка ходит меж блиндажей, как по полю, как будто вокруг лес, а не дома столетней древности. Пушки стреляют с этой позиции, как будто не обращают внимания, что мимо идет трамвай и много пассажиров стоят на площадках и видят войну в центре своего города.

И все смотрят с благодарностью на эту героическую батарею, на которую сыплются бомбы и снаряды.

И все смотрят с улыбкой, хорошей и простой, понимающей улыбкой, на маленькую девушку, которая несет на плече таз и у которой на шапке красная звездочка, а на груди медаль «За оборону Ленинграда».

КРАСИВОЕ МЕСТО

У этой девушки в руках белая с черными полосами палочка. У девушки очень строгий вид. Но это не так: она добрая девушка и любит посмеяться и даже побегать и пошутить, потанцевать и попеть, но сейчас она при исполнении обязанностей. Она милиционер-регулировщица. По приказу ее палочки машины и пешеходы двигаются по широкому Кировскому проспекту.

«Красивое место!» — скажет всякий новичок, взглянув отсюда на Неву, на пышную зелень по сторонам проспекта.

«Опасное место! — скажет опытный ленинградец.— Не хотел бы я тут быть во время обстрела».

А обстрелы здесь часты. Но и во время обстрела идут военные машины, и покидать место регулировщицы нельзя.

Я разговорился как-то с такой девушкой.

— Когда вам было страшней всего? — спросил я.

— Страшней всего было первый раз. Я еще не знала, что такое снаряды, когда они рвутся рядом. Я стояла, как всегда, и день был очень хороший — ленинградский, с ветерком, серенький такой, тихий. Вдруг слышу, как будто большим молотком стукнули по камню и камень раскололся, лопнул. Не поняла я, что такое. Но слышу, опять шелестит что-то по воздуху. Опять такой же удар, но уже ближе. Стреляют! Тут я испугалась. Это по мне стреляют. Я представила себе, как толстые немцы, рыжие, подлые, наводят на меня из Петергофа пушку. Я стою, и они хотят в меня попасть. И не могут. Я отошла на несколько шагов, чтобы их с цели сбить. Так мне от страха тогда эта мысль понравилась, хотя я, конечно, понимала, что это глупости. Но ведь меня-то убить они хотят...

Опять идет снаряд. Как хватит в фонарь у аллеи, что и крепости идет! Дым, звон, какие-то осколки надо мной по воздуху чертят и поют на разные голоса.

Вот совсем близко уже осколок свистит, и я стала тогда всю свою жизнь вспоминать. Как и девочкой здесь в школу бегала. И мы играли в разные игры по дороге. Вот и сейчас такая игра, это совсем не страшно,— сама себя я убеждала.

А он как рванет воздух, точно надо мной трамвай пролетел, и куда-то в дом, вон там, в начале проспекта. Там еще такой сад и подъезд с колоннами. Смотрю — тянется красное облако и стоит в воздухе. Это кирпичная пыль поднялась. А я думаю уже не про школу, а про то, как я из школы приходила и читала книги. Там и про войну было. Но я эти книги не очень любила. И себе представляю, что я опять дома и читаю веселые рассказы какие-то, стихи вспоминать начала. Только плохо они на ум идут.

Так стою, фантазирую, а во все глаза гляжу. Машины идут. Пешеходы, конечно, в боковые улицы нырнули или в щели. Кому охота под снаряды голову подставлять? А они всё рвутся, то ближе, то дальше.

Потом стали удаляться по проспекту. Кругом гремит, а шоферы высовываются из кабин да еще шутят. Один моряк, такой краснощекий, даже ход убавил, мимо меня проезжая, кричит: «Садись, девушка, увезу от войны!.. Небось до смерти перепугалась?» Ну, тут я уж рассердилась и говорю: «Это вы спешите, чтобы скорей умчаться, а я тут стою при деле, мне спешить некуда. Тут и живу, эти места мне родные. А бояться — я уже и не боюсь!»

И действительно, после тех слов страх как рукой сняло.

НП — значит наблюдательный пункт. Высоко над домами вышка. Оттуда видно во все стороны. Это наблюдательный пункт. Там стоит девушка с биноклем. Она наблюдает, куда в районе падают снаряды, и сейчас же по телефону сообщает ■ штаб, чтобы там записывали каждый снаряд, какой вред он причинил.

Бывало, что снаряды падали каждые три минуты, только поспевай следи. Все видно отсюда, с вышки.

Вот шла по улице женщина с корзиной, шла, шла и упала. Как будто споткнулась. Но она уже не встанет. Подбежал к ней человек, посмотрел, тронул ее руку, пощупал пульс и отпустил руку и побежал ■ сторону. Значит, уж помочь ей нельзя.

Вот идет старик, вытянув руку. Ничего не несет, ничего не просит, а рука вытянута. Посмотрела девушка в бинокль, видит — кровь бежит по руке. Ранен старик в руку и боится опустить ее, чтобы крови много не текло. Зашел он в подъезд, над которым написано: «Пункт первой помощи». Там ему перевяжут руку.

Бегут два красноармейца. Бегут, как в бою,— перебегают от дома ■ дому, выжидают, когда разорвется очередной снаряд, и снова бегут дальше. И все это делается не в поле и не в лесу, ■ посреди Ленинграда.



Дрожат слезы в глазах у наблюдательницы, сурово сжала она губы, видя, как впиваются снаряды в ленинградские дома, как убивают и ранят стариков и женщин. Но за детей больнее всего. Вот ребенок откуда-то взялся на улице, когда растаял дым разрыва. Он припал к мостовой, снова поднялся, прыгнул в сторону. Ну чего же он ждет, почему не уходит? Он, наверно, растерялся. Нет, он точно играет в пятнашки со снарядом. Вот ударил снаряд на углу, и мальчик не от него бежит, а к нему! Он совсем растерялся от страха. Не может понять наблюдательница, что такое происходит с мальчишкой. Отсюда, с крыши, он кажется совсем крошкой, и чем ему можно помочь, она не знает. А он прямо играет со смертью. Какой-то ненормальный мальчишка! И с улицы не уходит и под снарядами вертится.

Немцы перенесли огонь в другой район, и обстрел ушел из поля ее наблюдения. А потом и дежурство ее кончилось. И она пошла домой — хотела убедиться, что девочка ее цела и что дома все благополучно.

Идет по улице и видит того мальчишку, что так заставил ее волноваться. Она его остановила и говорит:

— Ты что же, не умеешь себя вести при обстреле? Чего ж ты с испугу метался, как заяц?

— Я не метался,— ответил мальчишка, руки в карманы, смотрит весело.— Я не знаю, где ты была, а я снарядов не боюсь.

— А чего тебе делать на улице, когда обстрел?

— Значит, есть дело.

— Какое же у тебя дело? Что ты мне глупости говоришь! Я ж видела, как ты крутился между снарядами...

— Я крутился — видела,— говорит,— а это ты видела?

Он засунул руки в карман, и на его ладони она увидела осколки самые разные: и длинные, с загнутыми краями, и маленькие, как ломаные стамески, и широкие, какие угодно.

— Я осколки собираю для коллекции,— сказал он гордо.— Мальчишки вернутся из эвакуации, а я им похвастаю: «Видели, что я насбирал?»

ДЕВУШКИ НА КРЫШЕ

Просыпается ленинградец на рассвете, слышит — точно далеко топором ударили четыре раза. Он уже знает, что это такое. Смотрит на часы. Еще поспать можно часок. Нет, уж не поспишь. Через мгновение слышит он четыре шипения, потом четыре точно громовых удара, но это не молния ударила четыре раза — это очередь снарядов упала рядом с его домом. Он приподнял голову, слушает. Опять четыре удара, глухих, дальних, опять четыре шипения и четыре разрыва. Так и пошло с утра. Каждые три минуты снаряд. Часов пять подряд. Тут уж не заснешь.

И так каждый день. Как докучный дождь идет осенью то реже, то шибче, так и обстрел. То каждые три минуты, то по три выстрела в полчаса. Но где-нибудь в городе обязательно падают снаряды.

И каждый куда-нибудь попадает. И каждый причиняет вред, то большой, то малый. Немец хочет истребить и Ленинград и ленинградцев. Силы взять город у него нет.

И попасть он хочет в больницы, в школы, в музеи, в театры. Попадает снаряд в крышу Зимнего дворца. Вырывает доски, рвет железо, разбивает балки. И тогда на крыше появляются девушки. Они опытные восстановители. Откуда у них этот опыт? Они научились во время осады. Нужно посмотреть, как ладно работает такая девушка с молотком, щипцами, пилой, топором.

Ничего этого она не умела до войны, и теперь она вам расскажет, как летом сорок первого года она строила укрепления под Ленинградом. Вот тогда было трудно с непривычки. И жарко, и воды нет, и ров противотанковый огромный — повозись, пока выроешь, и о проволоку колючую вся исцарапаешься.

Потом она вспомнит, как для дзотов деревья пилила. Сама не знала, куда упадет, в какую сторону, огромная сосна. На плечах переносила с подружками эти бревна по болоту по щиколотки в воде, а вода осенняя, холодная, ржавая, вредная.

Торф она тоже умела добывать. Это уж работа такая, каких хуже нет. Целый день в коричневой жиже, корни цепляются за ноги, спина болит, солнце жжет, ветер с дождем, и некуда укрыться.

Раненых с улиц таскала она на спине под огнем — таскала. Чистила город от снега по колени в сугробах — чистила. Раскапывала заваленных в разрушенных домах — раскапывала. Тушила пожары от проклятых зажигалок — тушила. Так вот и оказывается, что целый университет самых трудных испытаний она прошла.

Теперь чинит крыши Зимнего дворца. Хорошо знает она его залы. Вот и Эрмитаж рядом. Какие там были картины, какие скульптуры! Все это бережно сохранялось, все это доставляло людям такую радость! Было так чудесно бродить по великолепным залам, отдыхать перед каким-нибудь неведомым портретом или пейзажем, любоваться силой искусства старинных мастеров. А теперь все это увезено далеко, те статуи, что остались, побиты осколками.

Но не может немец уничтожить этот старый дворец. Он его бьет снарядами, а девушки заделывают все пробоины быстро и умело, и, усталым, им снятся опять великолепные залы, уставленные статуями и увешанные картинами, и много народу снова ходит по залам, и все жмут девушкам руки — благодарят за то, что они спасли это здание во время осады. А самое главное, что это правда. Так оно и есть. И они просыпаются, веселые от хорошего сна, и снова идут на крышу и видят Неву, простор, небо, молодое, как и они.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Они прибегают на завод на роликах. По асфальту опустелой улицы мчатся их дружные стайки. Со стороны может показаться, что они — ребятишки и больше им нечего делать, как бегать по улице, смеясь и играя.

Но вот они подбегают к воротам старого завода и оставляют свои дощечки на колесах. Это уже рабочие, это уже специалисты.

Когда приехали на один завод делегации с фронта поблагодарить за прекрасное оружие, сделанное для Красной Армии, то командиры, увидав за станками ребят, воскликнули:

— Ну и рабочий класс пошел нынче!

— А вы не смейтесь,— сказал мастер.— Посмотрите, что они тут наизготовили.

И повел приехавших в другое помещение, где принимали сделанные автоматы, винтовки, пулеметы и другое оружие. Все было сработано чисто, крепко, по-военному.

Девочки с тоненькими косичками, аккуратненькие, как птички, и мальчики с серьезными лицами стали большими помощниками взрослых, защитниками Ленинграда.

Иные из них стали мастерами, и все их уважают и называют уже не Вася, а Василий Васильевич.

Василий Васильевич не уступит старому специалисту. Посмотрите на него, когда он проверяет прицельную линию пулемета. Здесь нельзя ошибиться. Плохо рассчитал — и прицел

будет негодный. Пулемет не сможет стрелять правильно — значит, и немца из такого пулемета убить нельзя. Да и не допустят с таким изъяном пулемет в Красную Армию.

Вот почему такой строгий вид у Василия Васильевича, когда перед ним, зажатый в тиски, в точно рассчитанном положении лежит пулеметный прицел.

Я не знал лично Василия Васильевича, но я видел много других мальчиков и девочек. Их звали почетным именем: ремесленник.

До войны оно звучало обыкновенно, но во время ленинградской осады это слово стало наряду со словами: сапер, артиллерист, моряк, железнодорожник. Маленькие ремесленники были очень сознательные работники. Они понимали, в каком городе они работают, они понимали, что их отцы и матери гордятся своими сыновьями и дочками, помогающими в обороне Ленинграда.

Конечно, они не походили на взрослых рабочих. Когда кончалась смена, они высыпали на двор, заваленный старым железом, грудами шлака, кучами разбитого кирпича. Но была на дворе весна. Солнце грело их замазанные смазкой лица, воробьи прыгали у больших серых луж, деревья скромно начинали зеленеть. Весенний ветерок приносил запахи каких-то далеких садов.

И в них просыпалось снова детство, и они начинали громко кричать, как маленькие воробьи, толкаться, бегать взапуски, тузить друг друга, хохотать и смотреть широко раскрытыми глазами, как в город приходит весна.

Их глаза снова смеялись, голос становился звонким, движения — свободными. И тут уже и Василий Васильевич мог снова легко и просто превратиться в Васю и в Ваську и, забыв свой авторитет, поставить ногу на дощечку с колесиками и промчаться по асфальту не хуже самого маленького своего товарища. Но он мог и не сделать этого, потому что на груди была медаль на зеленой ленточке — медаль «За оборону Ленинграда», и он солидно отмахивался от приятелей и шел, довольный своей работой, напевая такую же песню, какую поют красноармейцы, уходя на фронт.

ЕЛКА

У маленькой Клавы сестра на фронте. Клава очень гордится Наташей. Она снайпер и очень храбрая. Сегодня Клава идет с ней рядом и весело глядит, как из-под руки Наташи растет большая, красивая, такая вкусная елка. Да, Наташа с фронта привезла Клаве елку.

Так они идут по городу мимо пушек. Едут машины, в которых сидят военные, и Наташа им отдает честь, как полагается солдату.

Город не похож на тот, каким он был зимой сорок второго года. Это совсем другая зима. У всех радостно на душе, потому что Красная Армия всюду громит немца и скоро под Ленинградом его тоже разобьют и погонят.

Это знает даже маленькая Клава. И вот приходит вечер, и зажигаются свечки на елке, и Клаве дают подарки, и она пьет сладкий чай с печеньем. Но это не главное. Главное — сейчас Наташа будет рассказывать.

— Наташа, Наташенька,— просит Клава,— расскажи мне, пожалуйста! Пожалуйста, расскажи мне под елкой,— ты обещала еще тогда, когда с фронта приезжала.

И Наташа соглашается. Вот как хорошо! Даже упрашивать не надо.

— Что же тебе рассказать?

— Расскажи, а звери тоже воюют? Расскажи про зверей.



— Ну, слушай,— говорит Наташа.— Вот был у нас летом бой большой. И стоит в отдельном окопе — ты знаешь, что такое окоп? — ну так вот, стоит наш хороший стрелок, Витя Васильев. А стрельба очень большая. Немцы так сильно стреляют, что носа не высунешь из окопа. Вдруг все видят, как от немцев через поле мчится заяц, изо всех сил бежит, глаза совсем закрыл, уши положил на спину — и прямо в окоп к Вите, прижался к нему и дрожит, сидит и дрожит. Витя ничего не крикнул, не испугал его, только посмотрел, и сам стреляет. А заяц от каждого выстрела вздрагивает и все больше к нему прижимается. Кончилась стрельба. Подошли к Вите солдаты, смеются: «Этот заяц немцам служил, с их стороны прибежал, надо его наказать за это — давай мы его зажарим и съедим». Но Витя сказал: «Нет!» Взял он длинноухого на руки, гладит и говорит: «Он наш заяц, русский, он защиты прибежал просить. Он с немцем жить не захотел. Пусть уходит, эвакуируется в тыл». Взял спустил зайца на землю, и побежал косой в лес, только задними ногами поддает. Так и ушел заяц от смерти, больше мы его не видели.

А вот другой раз между нами и немцами, на ничьей земле, такой рев мы услышали, что сразу поняли — это не человек кричит и не машина. Пошли разведчики наши и видят — на минном поле медведь сидит. Подорвался рыжий на мине. Сидит, за ногу держится и орет, бедный, шагу шагнуть не может. Жалко его стало. Хотели наши пойти его вытащить, а немцы тоже его разглядели и давай по нему из пушек палить. Из маленьких. Тут ночь наступила, и утром нет медведя. Наверно, его убили немцы и к себе утащили. Пошли смотреть — медведя нет. А на обратном пути смотрим — кто-то так ловко все минные поля обошел и след интересный, тонкий, острый. Один боец-охотник сказал: «Это лиса наследила. Ишь, все мины обошла, вот какая хитрая, не то что мишка косолапый!»

Но идем-ка на кухню, а то, слышишь, обстрел начался. Там потише, там я тебе еще что-нибудь расскажу.

И они пошли на кухню, потому что обе были обстрелянные и хорошо знали, что такое обстрел их района.

«ОНИ ВОШЛИ В ЛЕНИНГРАД»

Побежали дети на улицу, а там пленных немцев ведут. Немцы худые, небритые, с волчьей щетиной, глаза тусклые, как будто пыль в них набилась. Идут, руки в шинель засунув, как неживые. Шарфами шеи обмотаны. Ни на кого не глядят. И только по сторонам глазами, нет-нет, быстро посмотрят. Еще бы — по ленинградским улицам идут! Они мечтали, что с музыкой и со знаменами пройдут по Ленинграду, а тут автоматчики и девушки с винтовками их ведут, в плен попали разбойники.

Стали одного допрашивать: откуда он, какой части, сколько воюет. Он говорит, что воюет давно. Тогда спросили, нравится ли ему воевать. Он говорит:

— Сначала нравилось. Я пил французское вино в Париже, пил голландский джин в Роттердаме, венское пиво в Австрии, гулял по Софии, курил македонский табак в Югославии, и мне очень нравится русская водка, ваши меха и черная икра. Мы не собирались долго воевать у вас. Я думаю, что мы вас скоро разобьем. Русские будут все уничтожены, как и другие народы, и останется одна Германия. Так нам сказали командиры.

— А почему вам теперь не нравится воевать?

— Потому что у вас так много танков, пушек и самолетов, что я просто не понимаю, откуда вы их берете. И потом, все русские так ненавидят фашистов, что нельзя даже в лес пойти одному. Там партизаны. Я танкист, и то они два раза подбивали мой танк. И потом, так холодно, как на полюсе. И нет ни водки, ни мехов, ни икры — одни пули и снаряды.

— Мы знаем,— сказали ему,— что вы давили своим танком женщин и детей.

Немец сразу испугался, посинел от страха и заерзал на табуретке:

— Я давил только два раза, и то каких-то старика и старуху. И не по своему желанию. Мне приказал офицер. Он сказал, что они не признают Гитлера и верят, что русские победят. Я прошу меня не убивать. Я не виноват. Виноват Гитлер и мой фельдфебель Гофман. Я только слушался их...

А другой был немецкий летчик, ас, он летал только ночью. Он сказал:

— Я бомбы бросал на Лондон, на Варшаву, на Белград, на Ленинград, но я никогда не видел этих городов. Я бросаю ночью, когда темно, а утром я сплю. Мне очень хочется знать, какой знаменитый летчик меня сбил.

— Вас сбил,— ему говорят,— молодой, начинающий летчик.

— Не может быть! — сказал немец.— Я прошу разрешения на него посмотреть.

Пришел наш летчик, взглянул на немца, как на затравленного волка. А немец говорит:

— Мы два знаменитых летчика, будем знакомы.

Наш посмотрел на него так, что немец опустил глаза, и сказал:

— Мы уже знакомы: я тебе две очереди влепил в самолет, так что ты четыре раза вверх ногами перевернулся в воздухе.

Третий немец сказал:

— Нас обманул Гитлер. Сказал, что мы под Ленинградом будем только три дня воевать. И что много хороших вещей в городе и все нам достанутся. Что русские будут на нас работать, а мы будем ездить на машинах и наводить порядок. А вместо этого я весь грязью оброс, похудел, поседел от страха, всех друзей потерял, а теперь и самого в плен взяли. Теперь я вижу, что Ленинграда не только мы не возьмем, а все под Ленинградом останемся, а кто уцелеет, тех в Сибирь, к белым медведям вы отправите жить...

Вот такие были немцы под Ленинградом, и скоро им всем пришел конец.

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА

Волна артиллерийского грохота прокатилась над Ленинградом. Небо зацвело ракетами — зелеными, красными, желтыми. Прожектор встал, как белый мост в черное вечернее зимнее небо. Багряные вспышки освещали снежные крыши. Залпы раскатывались над Невой.

И никто из ленинградцев не побежал в убежище, в укрытие, никто испуганно не прижался к стене, застигнутый такой канонадой на улице. Нет, улицы, набережные, площади были покрыты толпами радостно шумевших людей. Они смотрели, как гасли, ударяя в невский лед, разноцветные ракеты, как новые ракеты взмывали под самый купол ленинградского неба, как перекрещивались прожектора, впервые не искавшие вражеских самолетов.

Все говорили разом, плакали от радости, обнимались на улицах, пожимали незнакомым людям руки, качали бойцов и командиров. А пушки всё стреляли и стреляли.

Их было много, этих пушек. Их было триста двадцать четыре пушки, и они ударили двадцать четыре раза, потому что это был салют в честь исторической победы Красной Армии под Ленинградом.

Немцы были разбиты на всем фронте и на всем фронте отброшены далеко от великого города.

Осады больше не было! Обстрелов больше не было! Можно было идти куда угодно по Ленинграду, не опасаясь неожиданного разрыва снаряда. Как тяжелый сон, остались позади все испытания: холод и голод, блокада, штурмы города, бомбежки, бомбардировки, всяческие лишения.

Вот почему свет ракет и вспышки орудий салюта освещали лицо ленинградцев над торжествующей Невой. Из мрака выступали громады крепости, кораблей, Исаакиевского собора, дворцов и музеев.

На всех лицах играли улыбки, слышался счастливый смех, громкие крики восторга, «ура». Прославляли героических воинов во главе с командующим Ленинградским фронтом генералом армии Говоровым, великий коллектив трудящихся Ленинграда, его большевиков.

Салют окончился. Наступила блаженная, долгожданная тишина Победы. Тишина! О ней забыли, и вот она вернулась в город. Это было так необыкновенно, так прекрасно, что казалось сном. Но это была правда. Теперь о том, что было, можно будет читать только в книгах или видеть на картинке. Только надписи на стене: «Граждане, эта сторона улицы наиболее опасна во время обстрела» еще напоминали о днях славной обороны.

И все, разойдясь по домам, не могли уснуть в эту ночь. Сидели и вспоминали дни осады, пели боевые песни, веселились и читали — в который раз! — строки исторического приказа:

«Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы...»

27 января 1944 года навсегда вошло в историю Ленинграда, и каждый ленинградец — и маленький школьник и седой ветеран — не забудет этот великий день ПОБЕДЫ!

1942—1945

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕНИНГРАД ПРИНИМАЕТ БОЙ

В ТЕ ДНИ

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тихонов Николай Семенович

ЛЕНИНГРАДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ответственный редактор Е. В. Туинов.
Художественный редактор А. В. Карпов.
Технический редактор Т. С. Тихомирова.
Корректоры Н. Н. Жукова и Л. А. Бочкарёва.

ИБ 7417

Сдано в набор 02.08.83. Подписано к печати 21.05.84. Формат 60×84$^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,16. Усл. кр.-отт. 11,64. Уч.-изд. л. 8,84. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3530. Цена 60 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 191187, наб. Кутузова, 6. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Тихонов Н. С.

Т46 Ленинградские рассказы /Рис. И. Латинского.— Переизд.— Л.: Дет. лит., 1984.— 191 с., ил.

В пер.: 60 коп.

Рассказы о людях мужественных и стойких, с честью выдержавших суровое испытание — блокаду родного города.

Т $\frac{4803010102-127}{М101(03)84}$ 414—84 Р2